

136725

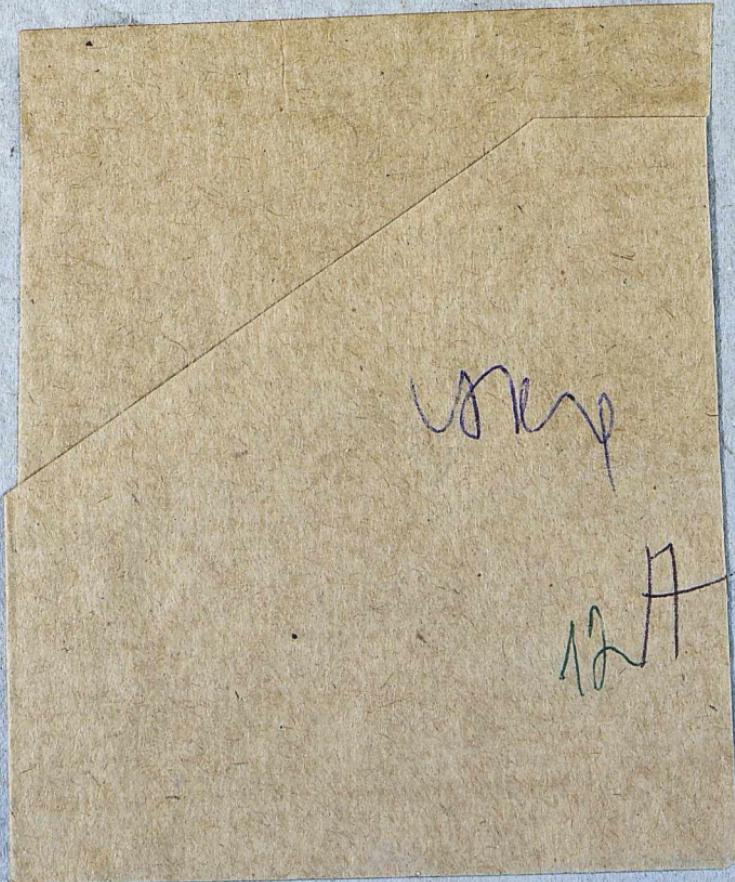
91(с)138
BII

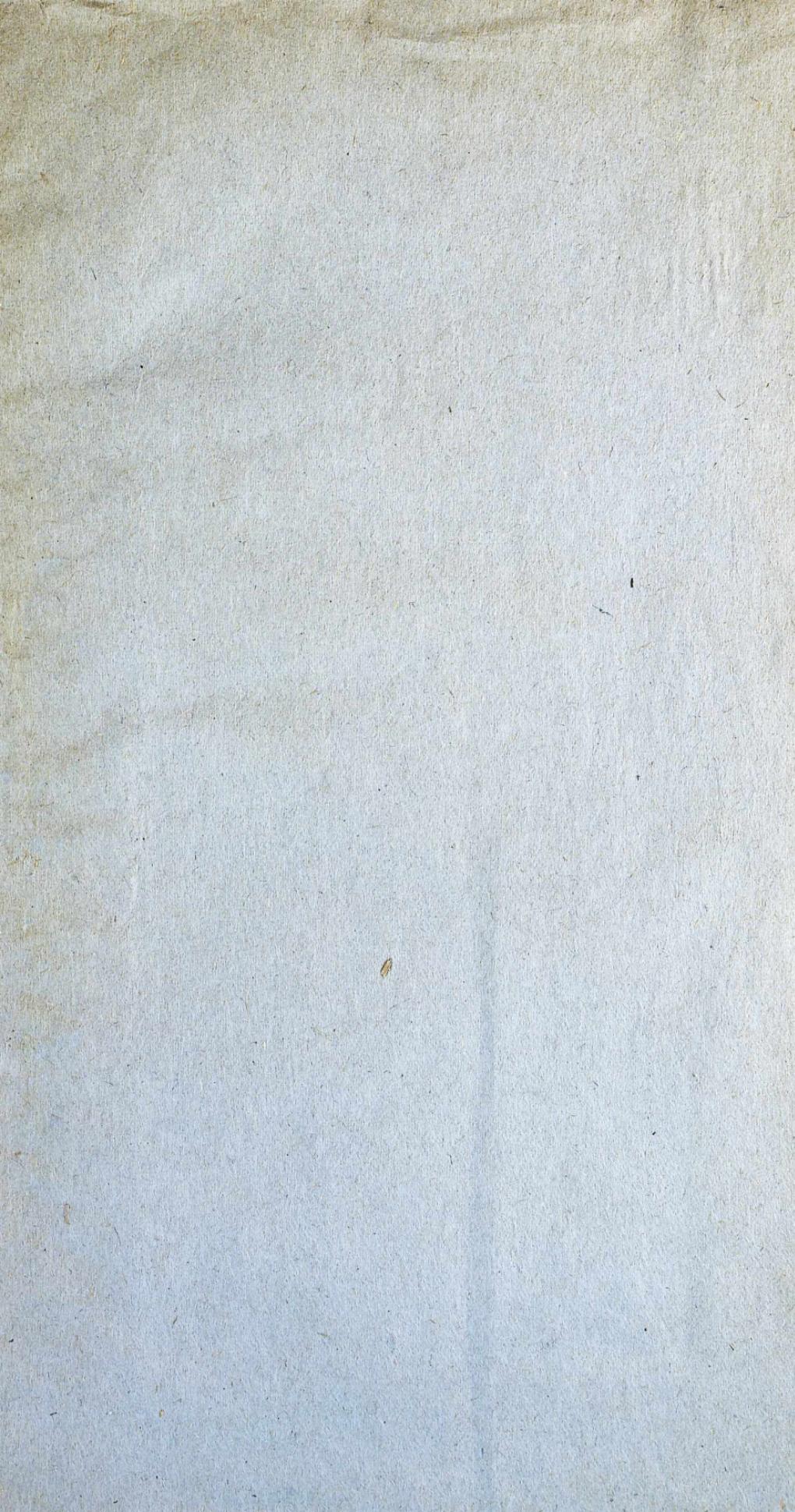
Р У.

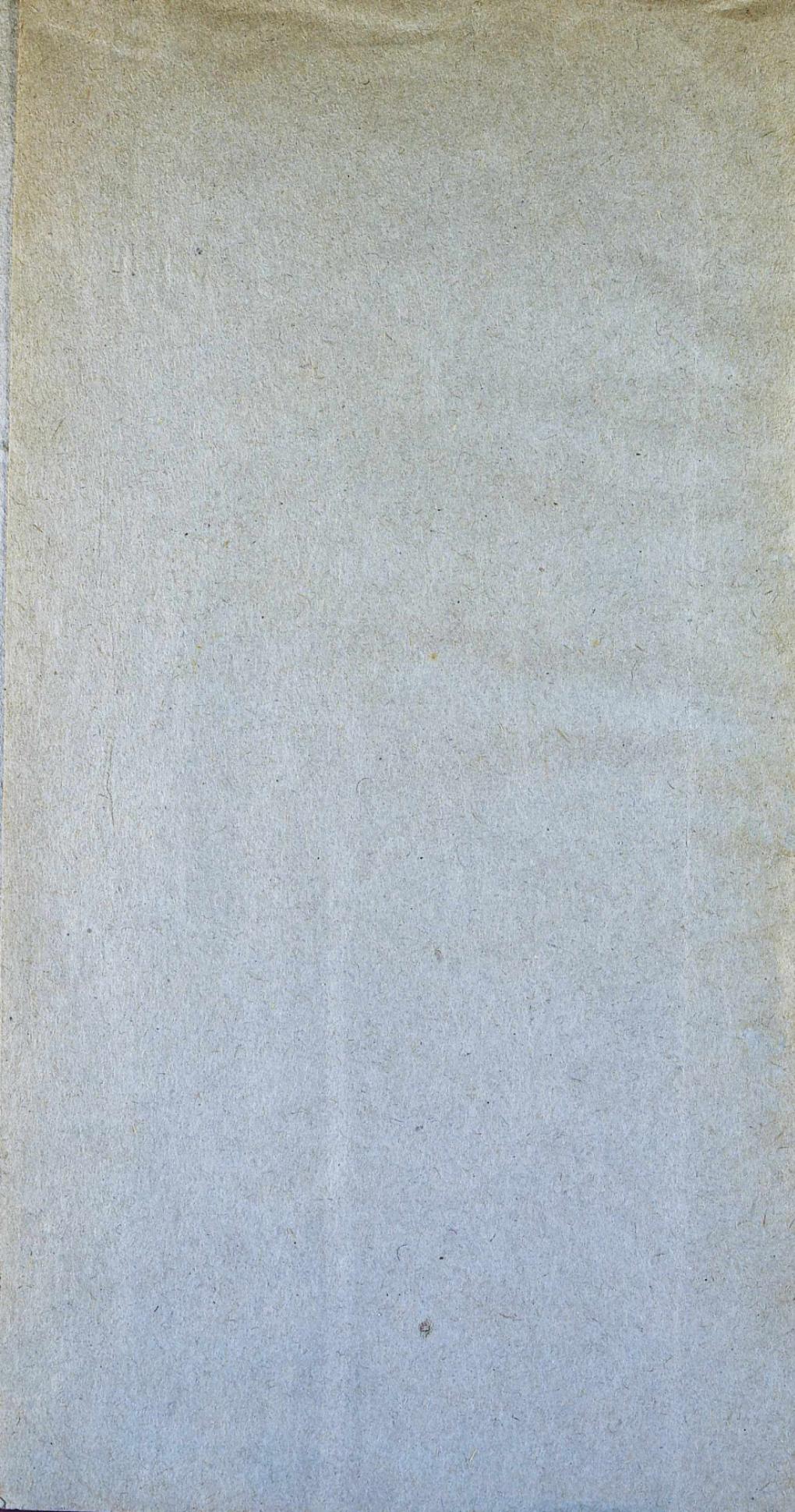
Литературно-
Художественный
Сборник.

W.H.

12A







84(2 РОССИЙСКИЙ КУРС) 6

В.11

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Библиотека
Курской Ассоциации
Пролетарских писателей
и Курского Общества
Крестьянских писателей.

В ГОРУ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

СБОРНИК

П 38
КУРСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
И КУРСКОГО О-ВА
КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.



КУРСК
1927 г.

91(с138) + 6 слл

ПРЕДИСЛОВИЕ.

„В гору“—так назвали мы свой сборник, выпускаемый в годовщину десятилетия пролетарской диктатуры.

Ибо на ряду с общим подъемом страны на культурном фронте, а в особенности на фронте пролетарской и крестьянской литературы поднялись значительно и наши местные литературные силы.

Этому подъemu способствовала за последний год более налаженная работа как Курской ассоциации пролетарских писателей, так и Курского о-ва крестьянских писателей (выпуск местным о-вом крестьянских писателей осенью прошлого года литературно-художественного сборника „Зерна“, проведение в апреле с/г. I Губконференции).

Количественному и качественному росту наших рядов в значительной степени способствовал также и выпуск с конца сентября 1926 г. еженедельной (по воскресеньям) странички „литература и искусство“ в газете „Курская Правда“ где в продолжении более чем годичного срока регулярно помещались произведения местных авторов—членов Курской ассоциации пролетарских писателей и курского о-ва крестьянских писателей.

В настоящее время в огромном, подавляющем большинстве авторы этого сборника являются постоянными сотрудниками странички „литература и искусство“ газеты „Курская Правда“.

В этом сборнике они помещают более зрелые свои произведения.

Но при подъеме в гору неизбежны срывы... От этих срывов не гарантированы и авторы сборника „В гору“.

А так как „со стороны всегда виднее“ то мы и обращаемся к тов. критикам, к нашим читателям, ко всем интересующимся ростом пролетарской и крестьянской литературы указать нам наши недостатки, дать нам товарищеские советы, указания, помочь в налаживании этого дела в будущем ибо мы глубоко уверены, что **силы есть**, что **настало время** издавать периодически и у нас литературно-художественные сборники.

Корреспонденцию по поводу сборника просим направлять по адресу: Курск, Губернская Центральная библиотека имени Семенова, Красная площадь № 24—для редакции сборника „В гору“.

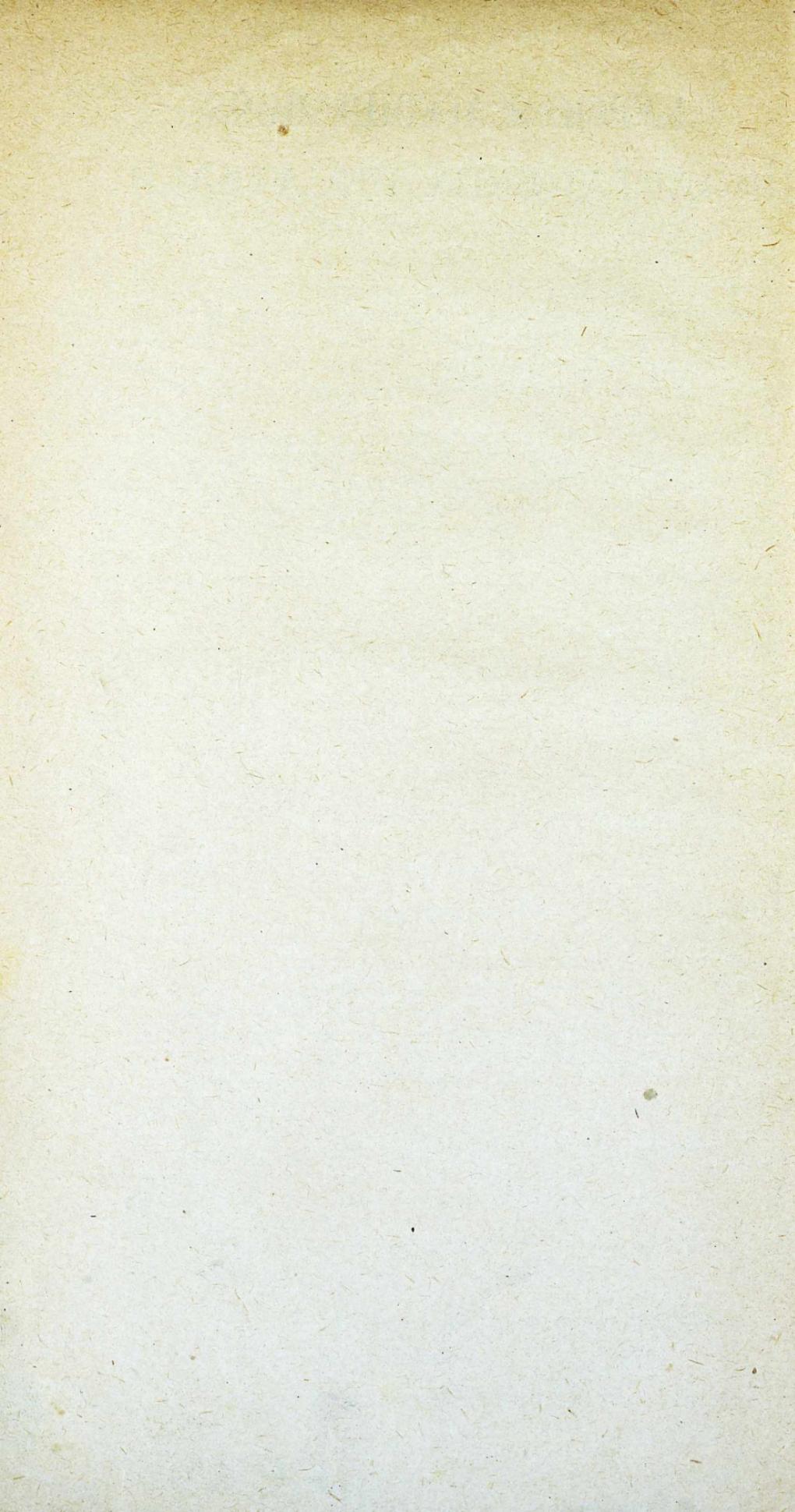
По независящим от редакции условиям сборник „В гору“ выходит со значительным опозданием.

Курская Ассоциация пролетарских
писателей.

Курск,
20 ноября 1927 года.

Курское О-во Крестьянских писателей.

**КУРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.**



M. Суровый.

Десять лет.

Десять лет!.. Целая эпоха!..
Как ее в страницы книжные вместить,
Как ее вковать в ровненькие строки,
Уложить на белые, бумажные листы?

Если-б книга грохотать умела,
Если-б пахла кровью и огнем!
Если-б языки бумаги белые
Рассказать смогли-бы обо всем!

Но ведь разве в повести какой расскажешь,
Описать возможно ли в стихах
Как от спячки Землю будоража,
Правду мы подняли на руках?

И какой поэт или историк
Сможет в точности пересказать,
Как на вышки вражеских построек
Лезли руки наши, ноги и глаза?

Никакой усидчивый статистик
Никогда не сможет подсчитать
Сколько жизни у Кремлевских выступов
Пало арками к грядущего мостам!

Даже хорошо исполненная фильма
Битв у зимнего не сможет передать,
Не покажет как волной неодолимой
Бил прибой рабочих и солдат.

И первом неторопливым Льва Толстого
Не описать атак у Сиваша,
Где не милями, а узкою пятою,
У врага отбитый измеряли шаг;

Потому что-битвы в Севастополе
И „отечественная“ война—
Это просто петушиный топотень
Перед тем что видеть приходилось нам.

Сам прославленный, если-б встал, Гомер-бы
Отказался ужас тот воспеть,
Что костлявое, Поволжское бес хлебье
Гнало в города из высохших степей.

Битв и ужасов живые очевидцы,
Часто сами мы, в грохоте, в боях
Хорошо не знали, что нам снится
Что фантазия, что явь.

И порой вытягивались жилы
Тоньше самых тонких струн
Но мы все перетерпели, все мы пережили,
Чтобы власть не выпустить из рук.

И когда по всей республике зареяли
 Флаги красные на избах и дворцах—
 Сами мы глазам своим не верили
 Что врагов добили до конца.

Но зато теперь и золото, и руды
 Под ногами нашими, покорные лежат,
 Старых городов расбросанные груды
 Мы по нашим выправляем чертежам.

Но зато теперь в строительном кипеньи
 Словно солнце искрясь и бурля
 Мы готовы электрическою пеной
 Затопить республики поля.

И не даром каждый день к нам едут
 Посмотреть рабочие на нас,
 Нет, недаром пышные легенды
 Расцветают буйно про рабочий класс!

Мы своей строительной горячкой
 Рано-ль, поздно-ль—мир весь заразим...
 Будет день—труд вооруженной стачкой
 В станет в грохоте ленинской грозы...

Десять лет... Целая эпоха...
 Вы истории грядущие чтецы—
 Знайте—в ровных, стройных строках
 Только немощь слов, да вялость цифр!

Трудно, трудно будет вам постигнуть
 Наших чувств и чотких мыслей ткань,
 Потому что передать бессильны книги
 Сердца бой и взмахи молотка!

Десять лет... целая эпоха...
 Как ее в страницы книжные вместить
 Как вковать в ровненькие строки
 Уложить на белые, бумажные листы?!

ЕФИМ КАНДАЛЬНЫЙ.

(Отрывки из поэмы).

Вступление.

Ефим, Ефим, голубчик мой!
 Могло ли быть тебе известно
 Что зачарованный тобой,
 Слагать тебе я буду песни?
 Когда-б ты знал—так ты б наверно,
 Смеясь и сердясь на меня,
 Ругался крепко бы с полдня,

Качая головою серой.
Тебя уж нет... но как живой
Встаешь ты часто предо мной.
Тогда с неудержимой силой властной
Тянусь к бумаге и перу,
И весь волнуюсь, и горю,
Спеша набросить образ ясный.
Но в вихре огненных событий,
Завален кучей мелких дел,
С пером я долго не сидел,
Крепя строй кровию добытый:
Неудержимо жизнь звала
Не на бумажные дела
И образ твой, увы, доселе,
Как я-б хотел, не воплощен
Зато во мне, как слиток целый,
Лежит все так же прочно он.
Забыты многие события,
Забыты много лиц и глаз
Тебя же не могу забыть я,
И вспоминаю каждый раз,
Когда былые дни толпой,
Вздымя огненною гривой,
Гремя копытами игриво,
Как кони скачут предо мной.

У т р о в г о р о д е

Вздувает горы кузнец, незримый
За серым всгорбленным холмом;
Взлетает свет неугасимый
На небеса ржаным снопом.
Проснулся город—зашумели
Базаров чорные ряды;
Встает рабочий люд с постелей
И город весь дрожит, гудит...
Вот, словно ласточки, моторы
Летят гуськом друг с другом споря
Фатою легкой за собой
Влача дым тонкий, голубой;
Вот поднимая тучи пыли,
Под истеречный рев и вой,
Несутся в скачь автомобили
По обалдевшей мостовой.
За ним гонятся лошадки,
Цок-цок! подковы по камням
И чмокают извосчик сладко,
А чмоки липнут по стенам.
Гудит и колокол церковный,
И звон его, уныло ровный,
Былых веков смешной остаток,
Нелепый к городу придаток,
В невыразимый, грозный гул

Утопленником потонул.
 Но что за вид необычайный
 Имеет город весь почти?
 Повисла вывеска над чайной—
 Подбитой чайкою летит;
 Кресты на церкви покачнулись
 Как в бурю мачты коробля;
 Бредут шатаяся вдоль улиц
 Столбы, как пьяные гулять...
 Вот дом большой—склонившись на бок
 Стоит измученный и слабый;
 Глаза—повыбитые стекла—
 Кругом испуганно глядят
 От пулеметного дождя
 Стена бетонная размокла.
 Что за причина—магазины
 Закрыты кем-то на замок?
 У лавок хлебных длинный—длинный,
 Людской мятущийся поток
 И там где раньше красовалось
 Морозов, Пудов, Помелов—
 Там смотрят скромно улыбаясь
 Обрывки новых, трезвых слов:
 „Четвертый, пятый дом советов“
 „Райком“ „Цека“ иль „Совнарком“.
 Кто город дерзкою рукой
 Словами новыми разметил?
 Где-он где он-храбрец безстрашный,—
 Который все перевернул,
 И даже по кремлевским башням
 Палить из пушек посягнул?
 Он здесь... Он здесь... Во многих лицах,
 Но и един везде, всегда,
 По взбаломченной столице
 Течет как вешняя вода...
 Спешит на трудовой парад
 А звать его: Пролетариат.

На работу.

Ефим оделся... молча вышел
 Гудков могучих—голоса
 Игриво прыгают по крышам
 Винтом взвиваясь к небесам.
 Ефим спешит и крупным шагом
 Упруго давит тротуар...
 Вот дом Советов—Красным флагом
 Бросает свет на весь земшар.
 Вот в куртках кожанных и кепках
 К нему летят со всех концов
 Десятки взрослых и юнцов—
 Свои ребята—те что крепко

В простых, мозолистах руках
Зажали власть врагам на страх..
„Держите крепче... так и надо
Подумал про себя Ефим
„Пускай дрожат со страху гады,
Пощады не давайте им!
А мы на фабриках, заводах
Среди полей и в мастерских,
Забыв про жизнь, про хлеб и отдых
Зажмем развал в тисках своих,
А если будет, всем нам нужно
Пойти с винтовкою на фронт—
Вы только крикните—и дружно
Рванемся мы на белый сброд!“

С рабо́ты.

По капле капают минуты
Сливась в ручейки--часы...
Вот солнцем небо обогнуто,
И солнце тихо как весы,
На запад клонится и вот
Шабаш гудут гудки уныло,
С работы движется народ...
Ефим почти что через силу
Тихонько тож домой бредет.
Сомненье гложет ум усталый:
„Не взять нам верх... нет, нет, не взять
Придется всем знать кровью алой
Поля и камни поливать.
Москва устала... Хлеба нету
И склады все почти пусты...
Одни... темны... интеллигенты
Трусливо спрятались в кусты..,
На фронте гонят... Ох, дела!“
Но вот пред ним сурово встали
Зубцы старинные Кремля—
Квадратом площадь... С пьедестала
Пожарский с Мининым, вдвоем,
Глядят как красным покрывалом
Усердно машет царский дом.
Пожарский с Мининым... старье,
Но за стенами, там-- „свое!“
Там сердце огненное бьется,
Там ясный ум, там зоркий глаз—
Тот глаз уже не промахнется—
Там Ленин наш... Он любит нас,
Он видит все, он знает верно,
Куда итти, как дальше быть...
К чертям раздумье! Пусть нам скверно--
Но с ним нельзя не победить!“
И вот забыты горе, голод,

И тверже ноги дали шаг...
 О Ленин, Ленин! Новый маг—
 Не даром мир тобой расколот!
 Ты для сердец рабочих молот,
 Который выковал из них
 Бойцов невиданных, стальных!

Минуты горя.

И вот, друзья, к Ефиму снова
 Несчастье страшное пришло:
 Детей, взлелеянных любовью,
 В могилу тифом унесло—
 Как часто сам он был голодным,
 Отдав детишкам свой паек,
 Как часто, будучи свободным,
 Водил их в детский уголок!
 Какую теплую отраду
 Они вносили в жизнь его,
 А как они бывали рады
 Приходу папы своего!
 Стоит Ефим. Пред ним могила
 Зияет жуткой темной,
 В коленях ноги подкосило
 И весь он—будто бы пустой!
 И больно сердцу, больно, больно...
 Стоит один, как в землю врос,
 А по щекам текут невольно
 Тяжелой ртутью капли слез.
 Бредет домой... Могилы сзади
 Квартира, словно склеп, пуста...
 Итти домой? Какая радость?
 Его там ждем одна тоска!
 И завернул за темный угол,
 Решив зайти на время к другу.
 У друга дело чуть получше:
 Здоровы все... но хлеба нет.
 Жена со злости гневно пушит
 Большевиков и белый свет:
 „Дожили, черти, до коммуны!
 Долой царя, буржуев тож!
 Возьму на всех на вас вот плону—
 Живи один с детьми, как хошь!“
 Хотел Ефим с давнишним другом
 Свое счастье разделить—
 Но видит—гневная супруга,—
 Готова сжить его с земли...
 „В огонь не стоит масло лить“—
 Решил— и стал его жену
 Разубеждать спокойным словом...
 Раскрыл секреты про войну,
 Набросил вехи жизни новой,

Что мы должны построить сами,
Умом рабочим и руками.
И друга темная жена
Намиг как бы просветлела...
Для ней вокруг все стало ясным,
Она во всем, во всем согласна--
Но хлеба нет... Что будут дети
Вот завтра, завтра есть? Ну что?
Увы! на это ей ответа
Не может дать никто; никто...
Ефима друг, совсем смущенный,
Сидит, молчит... ну как тут быть?
И вдруг, как солнцем освещенный
Давай по комнате ходить...
— „Вот что... Ефим... Надумал я...
Совсем напрасно мы страдаем:
В деревне—хата у меня
И огородишко с сараев...
А ну-ка мы с тобой, пока
Переживет нуждишку город
Махнем в деревню от пайка,
Там не такой ведь все же голод!“.
Под блузой сердце у Ефима
Забилось пойманным налимом...
„Покинуть этак города...
Что ж с нами станется тогда?
Все это так... Оно не дурно
Спасти свою сухую шкуру.
Спокойно будешь землю плугом
Вздирать там где-нибудь в глухи,
Картошку есть и с мясом щи...
И жизнь пойдет мужицким кругом.
Коровы, лошади ребята,
Клопов и тараканов рой,
В придачу—„собственная“ хата—
Живи, плодись и песни пой!
Но ведь тогда нас всех раздавят
Враги железною пятой
И на века опять заставят
Расстаться с светлою мечтой
О жизни лучшей на земле,
И будем все ползти во мгле
Нам трудно... трудно безусловно,
Но сдрейфить нам нельзя никак
Не то рабочего же кровью
Потушен будет наш маяк“...
Почти до полночи за чаем
Из высушенной свеклы
Они беседу все вели
И в ней все уголки земли
Поделали рабочим раем.
А утром рано на работу

Спокойно вышел наш Ефим...
 И в мастерских подобно кроту
 Он со станком своим
 Возился молча... Кучерявясь
 Ползла змеею под резцом
 Стальная стружка извиваясь,
 На землю падая кольцом.

М и т и н г.

Однажды мне пришлось случайно
 Огромный митинг проводить
 Топтал Деникин уж Украину,
 Колчак под Вятку подходил,
 Юденич лез на Петроград.
 Архангельск белыми был взят—
 Нам трудновато приходилось:
 Сидели все мы на пайке
 Россия вся стонала, билась
 Как рыба в высохшей реке.
 С импровизированной трибуны,
 Из пары стульев и досок,
 Я по незримым, тонким струнам
 Вбирал в себя бодрящий ток...
 А вокруг меня шумя и споря
 В четыре тысячи людей,
 В замасленных одеждах чорных,
 Поток взволнованный гудел...
 Я звал их строить паровозы,
 Просил маленько потерпеть...
 А нас кругом, шипя елозя,
 Уже обхаживала смерть...
 Остаток жизни допивала
 Ненасытимая нужда;—
 И вот мы все уж уставали,
 Бороться, мучиться и ждать.
 Пусть знают все: и те, что живы,
 И те, что будут после нас—
 Сердец великие порывы
 Нужда срезала нам не раз!
 Но время не было тяжеле
 Когда мы в огненном кольце
 Перемогаясь еле—еле
 Вертелись в жутком колесе.
 На нас тогда отвсюду перли
 Князья, купцы, попы, графы;
 Кругом гремели пушек горла
 Шептали вшивые тифы.
 Нам было трудно, ох, как трудно!
 Нам только дрогнуть было чуть
 И сапожищем много пудным
 Нам наступили бы на грудь!

Но мы стояли, как из камня
Веками созданный гранит,
Пред ошелелыми волнами,
В погоду грозную стоит.
Париж растерзанный—пред нами—
Стоял как призрак роковой;
Грозя из тьмы кровавой тенью
Он зажигал в нас жажду мщенья,
Будил отвагу, звал на бой...

* * *

Я кончил речь... Ко мне вопросы
Летят как птицы из толпы
— Мы голодаляем, наги, босы,
А ты все мелешь: потерпи!
Доколь терпеть-то дай ответ нам?

Нас жмут и жмут со всех концов,
По сообщениям газетным
Все-уже белое кольцо.

Вот в этот миг, как были-б рады,
Когда бы слышали враги!
В вопросах тех зерно разлада
Они увидеть бы могли...
Толпа гудела и казалось
Она волной кругомвздымалась,
Волной размыть готовой в миг
Подмостки хрупкие мои.

Но вдруг смотрю со мною рядом
Стоит, как бронзовый, Ефим;
Обвел толпу сердитым взглядом—
И все притихло перед ним.

— Чего галдите? Что вам нужно.
Страшат вас белые полки?
Иль надоели голод, стужа?
Ну, чтож! Бросайте что-ль станки
И расбредемся кто куда—
А вось полегчает тогда!

Эх, вы! И как не стыдно только!
Вы стали сборищем старух
Которых пища—темный слух,
Что ждут спасителя Николку.

— Что? Ну что, Ефим ты там?
— Чего ты мелешь то, Кандальный?

— Катись с Николкою к чертям!

— Дурак, ты братец, натуральный!

— А если так, чего-ж галдим

Ответил медленно Ефим

— Нужны вагоны паровозы

Везти на фронт солдат и хлеб—

При чом тут жалобы, да слезы?

Кто не совсем еще ослеп

Тот должен видеть, что беда

Не исживется без труда!

И вот мое вам предложенье:
 Кончай немедленно галдежь,
 Немного толку в этом пренъи—
 Субботник да...
 — Даешь, даешь!
 И вот—напрасно наши муки
 Собачьи радуют сердца
 Смотрите как поднялись руки
 В толпе густой во всех концах!
 Я голосую предложенье—
 Подправить битый паровоз—
 И ни одной повисшей с ленью
 В толпе руки не осталось!
 Я голосую что-б вагонов
 Десятка на два починить—
 И рук мозолистых и черных
 Живой, огромный лес стоит!
 И даже те, кто в сердце злобу
 Таят на нас, в углах шипя,
 Подняли руки чуть не обе,
 Хоть может корчась и скрипя.

Ефим болен.

Субботник тот, весьма удачный
 Был для Ефима роковым!
 Голодный, потный и горячий
 Хватил сырой воды Ефим.
 Четыре дня его ломало,
 Но он сдаваться не хотел,
 Ночами мучился, потел,
 А утром встанет—горя мало—
 И на работу. Но вот пятый
 Тяжелый серый день настал—
 Ефим едва с постели встал.
 Худой и белый точно вата,
 Бредет с трудом... качает ветер...
 Но всеж добрел до мастерской,
 А на вопрос: что с ним? Ответил
 —Пустое... так!.. и вдруг рукой
 За сердце хвать! и шлеп у ската!
 Затылком грохнулся... Ребята
 Его к врачу сперва снесли,
 Потом в больницу отвезли.

Смерть Ефима.

Лежит Ефим в гөрячке бредит,
 Вот будто он на кляче едет...,
 Он едет будто бы туда
 Где голод, горе и нужда
 Людей рабочих никогда
 Не посещают... Вот перед ним

Полей зеленые равнины,
Фабричных труб стоят вершины;
Из них ползет лениво дым
А вот каналы и сады,
Домов красивые ряды
И солнце светит вдалеке...
Ефим спешит... худую клячу,
Зажав огромный кнут в руке,
Торопит... злится. Кляча скачет
Но толку мало... все далеко
До города... Ах поскорей!
Хотяб одним, одним лишь оком,
Увидеть новых бы людей.
Но вот бугры... вот скрылось поле
Пошли овраги да кусты,
Не видно труб фабричных боле,
Домов высоких красоты...
И вдруг с размаху, вниз, в овраг
С конем и с ним повозка—бах!
Летит Ефим и все стемнело...
И было шесть часов утра:
Пришла усталая сестра,
Найдя остывшее уж тело...

Э п и л о г.

Ушел из жизни навсегда
Ефим без видного следа.
Никто из стойкого гранита
Ему громадный монумент
Не возведет... Ефима нет
И жизнь его как-бы забыта.
И только, те, кто с ним когда-то
Потели вместе в мастерской
Порою вспомнят: „Эх, ребята,
Ведь славный малый был какой!
Что-б он сказал на жизнь-то глядя,
Я—чай,—наверно был бы рад
Как все у нас пошло-то ладно,
И все как надо, в аккурат!
Да... вспомнишь—жалко, жалко
 знаешь...

Хороший, славный был товарищ!“
Товарищи мне тоже жаль
Без время сгибшего Ефима
Его лишь вспомню—и печаль
Нахлынет вдруг неудержимо
Тяжело весною волной,
И станешь прямо как больной.
Но разве-ж он погиб бесследно?
Но разве мозг его и кровь
Не слышны в постути победной

В труде сомкнувшихся рядов?
И не Ефимов ли Кандальных
Великим двинутый толчком
Наш паровоз взрезая дали
Тревожит Мир своим гудком?
Так что-же теперь должны
мы делать?
Ужель оплакивать всех тех
Кто и в труде и в битвах смелых
Легли мостами мертвых тел?
Кто сгустками горячей крови
И цементом костей и жил,
В борьбе великой и суровой
Скрепили взвихренную жизнь?
Нет, нет! И тысячу раз нет же!
Что-б жизнь и смерть их оправдать
И цементом и камнем свежим
Мы ляжем в здание Труда!
И в память прошлого героев
На грудах дорогих костей
Мы двинем сотни Волховстроев,
В земную, вековую темь!

Бор. Метьюко.

Ночью у Сиваша.

Качается плавно
светящий окнами вагон.
Колеса стыки рельс, уверенно считают
И лижет ночь блестяще стекло окон...
Мне веки силой, кто-то закрывает.
Ещё?!

За длинный, за дорожный день
В какой-то непонятной сутолке матаясь,
Теперь, когда вагон обняла темь,
Так-вот, так-вот на лавку и склоняет.
Уткнувшись в чемоданчик головой
Ритмичной поездною песней убаюкан
Я полусплю.—Вагон гремящим барабаном
Гремит в ушах моих, колесным стуком.
Вдруг бьюсь с размаху головой
о горные какие-то уступы...

В испуге продираю сонные глаза
И слышу, что колес чеканенные звуки
Затихли, больше меж собой не говорят.
Проводнику обычный задаю вопрос
—Какая станция?
—„Сиваш!“ ответил он дверями хлопнув...
Как выстрел слово это пронеслось,—
В мозгу застрияло пулей Перекопа.
Один лишь миг

и я гляжу в открытое окно
Глазами ночи мрак гнетущий пробуравя,
И вижу ночь лежит, огромной, сонной головой
И шевелит косматыми бровями.
А юга ночь, гнетуща и черна
И звезды крупные, как пятаки...
Солончаки, солончаки.
На сотни верст одне солончаки,
Прорезав путь меж персиком и солью
Лег перешейка славного рукав.
В ту ночь, быть может, с бессонной головною болью
Здесь командарм к полкам своим

из штаба проскакал.

— Друзья,—промолвил он братанам—
— Вот в эту самую, вот в эту ночь
Должны снести, последним грозным ураганом
Снести должны бетонную скалу ту прочь!“
И вот, кошмарной притаились тишиной
В ночи седьмого ноября
В тумане, слышно было,
Ветер выл
И в перешеек с моря мчались волны
С кипящей пеной на гребнях,
Как на удилах взмыщенных кобыл.

КУРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
Центральная Библиотека
НН 16/Х

Сигнал...

Сигнал не даденный рукою командарма
А брошенный воставшею рабочею страной,
И двинулись, по ледяной бушующей воде,
Крушить остатки царского жандарма
Живою, огненной стеной...

Прилипши к дрожащей раме вагонной
Стоял я глазами упервшись во тьму
И думал о стройке, о жизни взнесенной,
О том, что хотят нам набросить хомут.

Кровь бунтовала, и сердце сжималось
При мысли, что рушить снова хотят
Все то, что за славный десяток создалось
В крепких, свободных, рабочих руках.
И руки сжимают холодный подрамник,
Как будто-б винтовки холодную сталь...
Будем крепить мы своими руками
Одной—оборону, другой—магистраль!..

Курск, сл. Ямская.

М. Козловский.

Ночью.

Ночью степи глазом не измерить,
 Не обнять ночной темь степи;
 Не найти такой, должно быть меры,—
 Степи сделать меньше
 Не найти!

Оттого конь мнет ковыль копытом,
 Мнет к земле ковыль копытом конь;
 Скачет он по степи, мглой облитой
 И тревожит конь степной покой.

Эй ты, конь!
 Зачем тревожишь степи,
 От какой уходишь ты беды;
 Почему ноздрей кровавых трепет
 Ловит дальний пороховый дым?
 Эй ты, всадник,
 Забубенный всадник,
 Тиши степи зачем уворовал?
 Отчего в крови папаха сзади,
 Отчего в повязке голова?
 Прелью ночь июньская пахуча.
 В землю, конь, втопчи, втопчи ковыль!
 Твой прыжок на приовражных кругах
 Может пули тонкий след обвить.

* * *

Станичная хата.
 Не хата, а штаб,
 За полночь—на улицу свет;
 У дверей стоит часовой—каштан...
 Штабисты с наганами и в галифе.
 Над картой
 Согнувшись сидит командарм,
 В глазах затаилась бессонь;
 Он нынче готовит лихой удар
 В ковыльно-степную станичную звонь.
 — Сюда...
 — Через этот заржавленный плес...
 — Обходом... в станицу—кавполк...
 Кожанки холоден, не трепетен блеск,
 От шлема шишак тень бросает на стол.
 — Эй, ты, командарм!
 — Брось на время расчет!
 — В Благой... нынче ночью их сила...
 По ржавому усу кровь каплей течет,
 А череп повязка в крови сдавила.
 И снова по степи
 Подков перезвон,
 Копытом прибитый ковыль;
 И, кажется, было вот это давно,
 Когда табуны здесь бродили кобыл.

Покачнулись,
 В седлах покачнулись
 Молодые, стройные тела
 И в ночную темь степи нырнули,
 В звоны высохшего ковыля.
 Все в буденках—
 Молодые взоры,
 А в глазах—тифозная тоска;
 Не последние ль степные зори
 Встретил кто-нибудь из кав-полка?
 Коней вздыбив,
 Гиком степь огласят—
 Степь—бокал, наполненный вином;
 Перед боем—место только страстям;
 Эй, даешь! Да-а-ешь! Эх рубанем!
 Степь, как чаша,
 Тьма в нее налита—
 Молодое, пенное вино;
 На курган, быть может, пуля Смита
 Спать уложить всадника с конем.
 В ночь степную
 На курганах лягут,
 На курганах—руки распахнув;
 Утром небо, вынув солнце—бляху,
 Матерей заставит клясть войну.
 Командарм!
 Взмути голо степи,
 Истопчи века былые в пыль;
 Полк несется, ветер знамя трепет
 И ковыль летит из под копыт.
 Покачнулись,
 В седлах покачнулись,
 Поиз'ела лица тоски—вошь;
 В тьму густую, в тьму степи нырнули,
 Ночь тревожа грохотом

—Да-а-ешь!

Зорькой звоны ковыля остывли,
 Зорькой лязг ночной подков умолк,
 Шашками отзванивая мили,
 По степи на—рысях едет полк.
 Впереди—закован в холод кожи—
 На гнедой кобыле—командарм;
 Этой зорькой он обдумал может,
 Приготовленный степям удар.
 Полк в буденках—
 Молодые взоры,
 А в глазах тоски тифозной нет;
 Нынче слушать будут степь да зори
 Жен казачьих плач и зов коней.
 В ковылях курганных стынет тело,
 А сбоку конь (а ковыли звенят);
 Может пуля всадника здесь встрела,

Успокоила усталого коня.
 Ржавый ус бойца коряв от крови,
 А в глазах застыла темь степи;
 Командарм холоден в теплом слове:
 — Друг, спасибо! Мирно здесь ты спи!—

г. Курск, Сл. Ямская.

Маленький варвар.

Захлебнулся звонарь самогонкой—
 Брагой хмельною колоколов—
 Оттого-то
 Плынет звонкий
 Колокольный, зазывный зов.
 Оттого-то
 Над пашнями пляшет
 Уходя с заряницею день
 И платком кумачевым машет
 В синей дали ржаных деревень.

I.

На звоннице
 Звонарь строгий
 Сердце тешит малиновым звоном,
 А на паперти блеклый Георгий
 Замахнулся копьем на дракона.

Ты костел,¹⁾
 Как и прежде, угрюмый,
 В запоздалом готическом стиле...
 Вновь какие холодные думы
 Талым воском свечей задымили?

Как и прежде,
 Мадонна ²⁾ в капелле ³⁾
 Улыбается гипсовым ртом;
 И кадило вновь ладан стелет
 У иконы с поджарым христом.

Так вот где
 Сердце детское билось
 И умело мадонну хвалить;
 И платило за бабью милость
 Непонятным словом молитв.

II.

О, детство!
 Весенние годы!
 Первых шалостей чудеса;
 В ночь пугливые, лисьи походы
 В заросший ксендзовский сад.

Матери выговор строгий:
 — Маленький и злой ты дикарь!—
 Встречает меня на пороге
 С лозою сердитая рука.

— Что-же делать теперь с тобою?..
 Выучи Давидов псалом!..—
 Морщит лоб мать надо мною,—
 Я—над пушкинским млею стихом.

Вечером отца наставления:

— „Пустяк каждый пушкинский стих...
 Мы должны
 Все наши моления
 К богу на небо нести!

Маленький,
 Маленький варвар,
 Злой, нехороший дикарь!“—
 И меня сердито хлестала
 С лозою сердитая рука.

Я тогда уходил на улицу
 К таким-же,
 Как я, дикарям;
 И там мы, над книгой ссугулясь,
 Читали про Султана—царя.

Часто в закоулках решали:
 Нищету
 Уничтожить-бы как...
 А потом на городовых натравляли
 Лохматых и злых собак.

* * *
 Раз над толпою, мерзнущей в куртках
 Плавали красные птицы— знамена...

Жизнь побежала— с тех пор в агит-пунктах,
 В грязных вагонах больших эшафонов...

Однажды III
 В осенние звоны
 Вплелася девичья слеза.
 На паперти люди в погонах
 Хром сапог заставляли лизать.

И грыз тело шомпол зубами,
 Брызгал капли крови с пятак;
 А ксендз⁴⁾), грохоча сапогами,
 В дверях хохотал,
 Хохотал.

Детскою злобой охваченный
 В капеллу я с палкой вскочил.
 — Мадонна!
 Что это значит,
 На паперти за чем палачи?

Мадонна!
 Ну, где твоя милость?
 Мадонна!
 Будь проклята ты!..—

Статуя о камень разбилась...
 Мадонна—гипс полый внутри...»

* * *

И ушел я—
Маленький варвар—
Из капеллы в большую жизнь...

А сзади на камнях лежала
Мадонна с улыбкою лжи.

г. Курск (сл. Ямская).

- 1) Костел—римско-католическая церковь.
- 2) Мадонна—богоматерь у католиков.
- 3) Капелла—часть римско-католич. церкви.
- 4) Ксенз—священник римско-католич. церкви.

Гармонь и книга.

....Разгульная кудесница гармонь!

А. Жаров.

...Фолиант над фолиантом...

А. Пушкин.

Вечера осенние гультивые,
Вечерами кленов перезон...
Осень! Осень!
Переборы, переливы,
У околиц пьяная гармонь!

У околицы от песен пьяный
В пляске топчется под вечер день;
Вот сейчас
Под звонкие баяны
Загремит в чечетке и плетень.

Снова, снова льется песен ливень
В почервоненные вечера;
Заплясал трескуче в переливе
Буквами.
Большущий реферат.

Оттого, что куралесит рьяно
Забубенная гармошка у плетней—
Книгой я хочу напиться пьяным,
От гармошки
В двое я пьяней...

Эй, гармонь!
Не куралесь в полыни,
По деревне не веди игру;
Мне попалось слово по-латыни,
Ни черта я в нем не разберу.

А гармонь
Все ближе, ближе, ближе
Ткет полотна в глянцевых ладах!
У меня, гармошка, много книжек,
Ну-куда их деть мне,
Ну-куда?

Не пойти-ль к баянам за деревню,
Окунуться в трельную пургу?..
Со стены
Ко мне склонился Ленин:
— Слыши, читай! Тебе я помогу...

Ну и пусть
Гармошка куралесит,
Пусть напоит песнями плетни,—
Растревожит улицы—повеса...
А я пью вино
Из хмельных книг.

Булавин Михаил.

Г О Л О Д .

Вечер незаметно подкрался к Ильюшкому двору, черной кошкой мелькнул за окном, ворвался в комнату и проглотил последний остаток света.

— Страница 69-я,—запомнил Илья и закрыл книгу. По стеклам окон и по крыше монотонно шлепал дождь и крупные капли скатывались струйками по стеклу.

Ильюшка Вирин сейчас только заметил необыкновенную теплоту одной ноги, на которой лежала собока. Почувяв, что хозяин окончил дело она ласково завиляла хвостом, мерно постукивая им по полу. Ильюшка взял со стола кусок хлеба и бросил его собаке и та понюхала, лизнула теплым шершавым языком Ильюшку руку и оставила хлеб нетронутым.

Ильюшка вспомнил 1921 год и невольная дрожь пробежала по его телу. Невидимая рука открыла перед ним книгу, знакомую ему страницу неповторимого ужаса.

Это было так давно, будто сто лет с тех пор прошло и в тоже время так свежо в памяти как будто было только вчера. Тогда так же как и сейчас земля купалась в лужах грязи, только ветер издеваясь, то свистал по бандистки, то вдруг смолкал и хныкал сплакивая мертвую, не родившую хлеба землю.

Медленно двигался Ильюшка из командировки в полк, поезд тянулся глистою, весь избитый, дрожал скрипя и жаловался на свои избитые чугунные ноги. Пронзительным визгом кричали буксы и поезд останавливался на каждом посту, каждом подъеме. Какой-то человек ползал около вагонов, сопел, ругался, щупал буксу и каплей нефти затыкал ее голодную глотку.

— Ишь ты проклятая, тварь неуемная!

Человек махал рукой, хрюпал „Готово“, поезд судорожно дергался и вагоны тоскливо скрипя, считали рельсы, а через две версты вновь пищала она голодная и даже вспыхивала огнем.

Проехав за сутки около ста верст Вирин приехал в Воронеж.

Сонный, серый и грязный вокзал, дырявые потные стекла, почерневшие и из'еденные плесенью стены растреливали душу. Теплый, вонючий пар и дым растилались над полом противно щекотали нос. В полуумраке на полу валялись люди, корчились в углах на мокром заплеванном полу, дрожали кутаясь в полуистлевший хлам, крючками сухих пальцев распахивали из'еденное вшами тело.

Илья устал и присел на полу. Ныли ноги, а живот не переставая хныкать просил хлеба. Он тихонько снял вешевой мешок в котором было фунта два черного как чернозем хлеба, украдкой засовывал руку, разламывал его, сжимал и мял в руке боясь разсыпать, а потом пихал в рот. Кислота и черствость хлеба царапали и обжигали рот, вызывали сильную слону и слезы, но Ильюшка давясь, же-

вал, смаковал и глотал. До поезда было еще не скоро, стрелка на часах так медленно двигалась, что один час казался за целые сутки. Испарина еще больше сгустилась над черной глыбой человечьих тел и белесовато рвотным туманом застыла в неподвижности. Федька дожевав жвачку, вознамеривался соснуть, но не мог. Чей-то человечий тюк лежал на его ноге, а утомленное тело не хотело поворачиваться, но вот из кучи копошившегося людского валикника, сквозь густой туман человеческого испарения, как раненый среди убитых, поднялся мальчик, встал перед Ильюшкой без стона и просьб, большеголовый с тонкой шеей, скуластый, с большими мутными, ввалившимися глазами, остроносый без щек. Мальчишка ни говорил ни чего, а только смотрел на Илью, мучительно, больно смотрел. Взрослые глаза ребенка, как штык-прокололи шинель врезались в сердце пригвоздили Ильюшку к потной холодной стене. Стало стыдно самого себя и он едва не подавился проглатывая последнюю жвачку. Заныло нутро, а в глотке першило, хотелось спросить: — Что тебе? — но вместо слов получился шепот. Эх, да зачем спрашивать? Разве он не знал что ему? Ильюшка молча ткнул ему в руки кусок хлеба и снова прислонился к сумке. Если-бы мальчишка просил словами, Ильюшка безспорно не дал бы ему ничего. Разве можно было тогда тронуть словами? Стоны и жалобы людей были так обычны, а просьбы избиты, что нужно было чем то новым шарахнуть чтобы тронуть полузаросшее звериной шерстью сердце. Илья Вирин повернулся к стенке, влип лицом в вещевой мешок и забылся в тяжелом сне, а через час толкали.

— Товарищ, товарищ, встаньте надо убрать человека! Рядом с ним лежал труп с желтым как тыква лицом, с застьшим как студень взглядом и оскалом ржавых зубов. По лохмотьям трупа ползала масса вшей. Илья поднялся и спотыкаясь через баррикады спящих людей пошел к выходу на линию.

Тошило. Давило грудь, будто телега с грузом переехало ее. Гнала прочь страшная действительность, но от себя уйти не было сил. Голод глотку опоясал ременным шнуром и сжимал все туже и туже. Человек захлебывался своим последним остатком жгучей крови и точно выжатый жмых, задыхаясь бежал, сжимал пустой кулак, ловил не сязаемый хлеб и в жутком страхе падал в ледянную ванну голода, корчился и умирал.

Вирин долго скитался по загаженному навозом и отбросами междупутью. После вокзального смрада отяжелевшая голова, попав на свежий воздух, кружилась как после выпитого стакана вина. Немного стало легче, но за то ветер пронизывал холодом ветхую шинеленку, а дождь немилосердно мочил спину.

— Товарищ, на какой пути составляется поезд на Курск? спросил Илья встретившегося железнодорожника.

— Вона, показал рукой назад стрелочник на неопределенные пути.

Вирин зашагал дальше и вскоре увидел черный силуэт паровоза, за которым бесконечной лентой тянулся состав. — Наконец-то, подумал Вирин, а вот когда отправиться черт его знает.

Бросил за плечи мешок накинул на другое винтовку и втиснулся в вагон. Но в вагоне было не лучше чем и на вокзале; кто стремился уехать, тот давно шнырял по путям, находил вагон, залезал в него на полсуток и ждал отправления. В вагоне также как и на вокзале прижавшись друг к другу, свернувшись в комок лежали люди. Темно и сыро как в могиле. Тоска серой паутиной пеленала грудь.

Ильюшка залез в середину, поставил между ног винтовку и закурил.

В дыры свищет ветер, кто-то в бреду просит закрыть двери.

В темноте, то там, то здесь вспыхивают цыгарки.

— Товарищ, дай докурить!

— На! Ильюшка дал щепотку махорки и стараясь разглядеть соседа сосал цыгарку. При тусклом вспыхивании он увидел лицо старика.

— Ты откуда товарищ и куда? спросил он.

— С Поволжья за хлебом, так же коротко ответил старик.

— Разжился?

— Нет.... не разжился! Минута тягостного молчания. Слышно как старик сопит и почему-то чмокает губами.

— Почему?

— Обокрали, нёдовез... И не много помолчав добавил Обокрали виши! Была пара хаяв, да из мелочи кой-что — уташили. Поди тоже голодные!

Старик умолк. Долго смотрел в пол и словно чего то соображал. Потом поднял голову и произнес безразлично:

— Дома семья помирает, а може того — померла. Давно я из дома то...

— Куда же теперь держишь путь?

— Не знаю! Домой чай не скоро попаду, а может здесь помру на дороге. Давеча под машину лечь хотел. Не мог...

— Милый... Все поели... Коров давно, лошадей, кошек, собак. Ни чего не родило, поле и степь черная, да трава перекати-поле по ней бегает. Ох, страшно там....

Старик оборвал разговор.

— Сказывают нашиинские, что приехали тож за хлебом, нету жизни там, люди людей ловят на аркан. Не уйдешь оттуда. Деревни и села словно погости. И что только будет — богу одному известно? Прогневался на людей, с'ест людей мор, вот оно и правда выходит.

Старик снова умолк. Утешить его нечем и Илья курит жадно глотая едкий дым доморощенной махры.

* * *

Через три дня Вирин шагал с Харьковского вокзала в полк.

Всюду, на заборах, домах и углах кричали плакаты:

„Поволжье умирает! Через две, три недели будет поздно! Голодает 30 миллионов! К нам тянутся руки матери, детей и отцов! Не дадим им погибнуть! Отчисляйте пайки, деньги! Каждые десять человек должны спасти одного голодного! Нас хотят взять измором! Отстоим твердыни Октября!“

Знакомый батальонный двор. Илья в роте.

— А Илюха здорово! — один за другим приветствовали товарищи Вирина.

— А мы только что победали, будешь есть мамалыгу? От хлеба сегодня мы отказались. Пожертвовали Поволжью, сообщил Каблуков-батальонный запевала.

— Ну что-ж давай мамалыгу!

Каблуков подставил полкотелка с жидким супом из мелкой, как манна, кукурузной крупы и достал из под матраца деревянную ложку.

— Ну ребята, что-ж вы пожрать-то пожрали, а петь кто за вас будет? Нуко-сь давай затянем „Все тучки принали...“

— Запевай! согласились ребята. И громкая четкая красноармейская песня огласила казарму.

— Вирин! Вирин! Брат твой Василий приехал!

Василий служил в одном батальоне с Ильей и уехал домой на побывку в отпуск. Илья вскочил с нар и побежал к двери. Навстречу распахнув дверь в старой серой шинели, с исхудавшим обросшим лицом вошел Василий.

Илья подбежал к Василию, обеими руками затряс обе руки брата и забросал вопросами.

— Ну как дома? Что там делается? Как мать, отец, живы ли, голодают?

Василий ни чего ни сказал, только нахмурился и опустил голову.

— Ай заболел?

— Нет, тихо ответил Василий.

— Несчастье дома?

— Ну что, рассказывай!

Красноармейцы прекратили песню и обступили Василия, приставая с вопросами.

— Да ты сядь да расскажи, — предложил Илья. А у самого сердце так и екнуло.

Василий снял шинель и сел на койку. Илья пристально смотрел на Василия, точно говорил — Я все знаю Вася... Потом вдруг резко подошел и потребовал.

— Что? Говори! Мать померла аль отец?

Глаза блестели от слез и Васька сросился на плечо головой к Илье.

— Илька, — заорал он... Илька слышишь? Отец что наделал-то, а? Ночью отец-то взял Лешку прирезал и с'ел... Несколько дней ел... Голова когда одна осталась, отца арестовали. Васька не выдержал и зарыдал...

— Брось! Ну, тебя говорю брось. Не ребенок чай... И повернувшись лицом к стене Илья замолчал-

Все как ошеломленные стояли.

— Человек с'ел человека?!! Отец с'ел сына!..

— Мать-то где... Мать? спросил Илья-

— Незнаю! Сказывают ушла за хлебом и не воротилась-

— Ну, а отец как же? Что это он надумал?

— Отец? Отец ночью взял топор и зарубил Лешку, а когда комиссия Помгола обследовала, отца-то и накрыла.

— А теперь где он?

— Заарестовали его и в город наладили с конвоем. Я был в городе на суде. Отца спросили: признает-ли он свое преступление? А он вытаращил глазища, да как заорет: Хлеба дай мне, хлеба дай судья не то с'ем тебя как Лешку... И бросился на судью. Ну, понятно, отца связали и отправили в больницу. Сумасшедшим доктор-то признал-

— Товарищи!

Все оглянулись. Позади стоял командир батальона. Он незаметно вошел в батальон и слышал все происходившее.

— Товарищи, продолжал командир... Поволжье вымирает. Помощи не откуда ждать... Если мы...

Командир не окончил со всех сторон заорали:

Помогнем!..

— Так вот, товарищи, давайте возьмем в каждый взвод по одному голодному мальчишке, а каждый день отчислять будем половину хлебного пайка Поволжью.

Предложение командира было принято единогласно.

* * *

Илья очнулся и встал. Да все было! Но плохо верится, что все это было наяву, а не во сне... За окном со всем стемнело. Дождь перестал. Собака ласково виляла хвостом и лизала руки. В комнате было тепло и уютно, а на полу ваялся нетронутый собакой большой, серый кусок сътного, пахнущего полевым простором, хлеба.

КУРСКОЕ ОБЩЕСТВО
КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

В. Иванилов.

Искры Октября.

Изумрудна в поле зелень
Огнекрыл октябрьский день,—
Зашумели буйно ели
В сонной чаще деревень...

Разлилась свобода, удаль,
Аль широк праздничен взмах?
Бор взметнул над речкой чубом..
Солнце встало на стогах...

Жаром вспыхнула рябина
Улыбнулася в окно,—
Красной девкою за тыном
За околицей с ведром...

Хатки белые-молодки
Синеглазые вдали,—
День измерили короткий
Хороводы повели...

По проселочным дорогам
Яркой лентой кумача,—
Строй идет кудряво в ногу
Рать большая Ильича...

Изумрудна в поле зелень
Огнекрыл октябрьский день,—
Зашумели в поле ели
В сонной чаще деревень...

Молодая жизнь.

Облака плывут по розовым озерам
По заливам полдня голубым,—
Зеленеет рожь за синим бором
Без конца в полях ржаной залив...

Закачалася курчавая рябина
И дыхнул горячий ветер на цветы,—
За овсяным и загречневым, за клином
Две березы ветви подняли персты...

Чей-то голос прозвенел веселым звоном
Чей-то локон шелком заиграл...
Жизнь-весна встречалась с комсомолом
Солнца луч кудряшку целовал...

Не напрасно девки щечки розовели
И улыбка заалелася на устах,—
Песни новые в деревне прозвенели
О весне, о воле, о цветах...

Облака плывут по розовым озерам
 По заливам поля голубым,—
 Зреет рожь за синим бором
 Нынче встреча жизни с комсомолом,
 Скоро мир весь будет молодым.

М О Л О Д О С Т Ъ .

Размалюю, распишу, раскрашу
 Молодую удаль разолью,—
 Не напрасно жизнь—красавка машет
 Не напрасно я ее люблю!..

По канве узорчато бросает краски
 По конве кладет за штрихом штрих,—
 Загорелися у новой жизни глазки
 Васильковые у девиц, у молодых...

Не вчера-ли песни пели хороводом
 Не вчера-ли девки звали в пляс?!.
 Черный клен шумел за огородом
 И смеялись искры синих глаз...

За околицей звенели колокольцы
 Заливалася веселая гармонь,—
 Жизнью новою зажили комсомольцы
 В сердце пенилась и удаль, и огонь...

Размалюю, распишу, раскрашу
 Молодую удаль разолью,—
 Молодая жизнь на зорьке пляшет
 Колокольчатые бубны бьют...

г. Курск.

Октябрьский подарок.

Земля, земля!
Тебе сегодня старой,
В орудий рык,
В кандалльный каторг стон,
Я шлю
Октябрьский
— Дорогой подарок,
От именинницы—
— Одной шестой.
Верю,—
Лучи пробьют
У мира броню на лбу,
Слушайте,
Что поют
Грохоты красных бурь.
Смертью гремит их шаг,
Тюремщикам мира в уши.
Слушай, земшар,
Слушай!
Слушай!
Слушай!
Пренесться-б красным
В даль ураганом,
Сквозь горы, реки,
Через моря,
В след за собою повесть все страны
В черед поставить
— У октября.
Мир к жизни новой
К великой сдвинуть,
Разбить столетий
У мира цепь,
Далеко в выси
До солнца вскинуть,
Тяжелый молот и острый серп.
Чтоб слить народы
Все
В братство наций
В октябрской кузне великих эр,
Из Австрий, Англий,
Германий, Франций
Сковать единый
С. С. С. Р!
Октябрьский шквал
В дороге лет не стих,
Несет земле—набаты революций,
День будет,
Будет день,
И пять шестых
С страной советскою сольются!

Товарищ Шура.

Ей шла двадцатая весна
 Тем на штыках распятым годом.
 Ах, только близких, кто терял
 Лишь тот бы боль мою узнал,
 Об этой дочери завода...
 В шрапнельной дни текли грозе
 Чредою гневною и хмурой,
 Звали ее:
 Товарищ Шура,
 В ячейке все Р.К.С.М.
 Нам каждый куст давал врага
 И каждый город рвался миной,
 Ей пояс оседдал наган,
 А спину—ложе карабина.
 И был клинка каленый зуб
 От встреч стальных щербат и туп,
 Немало смертоносных битв,
 В походах прогремело мимо,
 Был загнан враг к уступам Крыма,
 Был грозный враг в конец разбит.
 В кольце татарских деревень,
 С несмыvшимся сражений следом,
 Мы были пьяны все победой
 В тот памятный и жуткий день.
 Не ждали вовсе перемен
 Налиых горечью и ядом,
 Но ночью белому отряду
 Попала Шура наша в плен.
 Шептали что-то ковыли,
 Им, как будто, было жалко:
 В кустах за гайдамацкой балкой
 Ее истерзаной нашли.
 Не выветрится ужас синий,
 В больших глазах застывших слез,
 Не за нее-ль пять вражьих линий
 В ту ночь мы сшибли под откос?
 Ей шла двадцатая весна
 Тем на штыках распятым годом.
 Ах, только близких кто терял
 Лишь тот бы боль мою узнал
 Об этой дочери завода.

г. Курск.

T. Гейдельберг.

Д Е С Я Т Ъ.

Десять врезалось—в тысячелетья,
Десять, десять в нашей голове
Поведемте новый счет столетьям
В мире есть, Глашатай новых вех!

Разве можно, счет вести как раньше
Прежним дням—кровавый велся счет.
Мы, товарищи, сегодня старше...
Нам пошел одинадцатый год.

Мы так молоды, и очень стары...
Исполняем революции наряд,
Мы не люди из столичных баров
Не прохожие из мира Октября.

Мы, вошли в Октябрьские стены
Чтоб великий, пролетарский сдвиг
Прокричать по всей вселенной,
Взбунтовать все лучшее в крови!

Десять, десять только насчитали
Но ведь в них столетья улеглись,
Из-за пороха, железа, стали
Засверкала будущая жизнь.

И когда враги бряцают смесью,
Скверных слов и порохом в руках,
Всюду крикнем: „Помни Десять“!
Этим прозвучат века!!!

г. Курск.

Ив. Попков.

В деревне.

Мой хмурый край, за шумным летом
Ты по осеннему притих.
Своим радушливым приветом
В последний раз вливаясь в стих.

Люблю рябин рдяные кисти,
Загоны с золотом у ног,
Шуршащий спад кленовых листьев
На грязь раз'езжанных дорог.

Над огородами,—взгляните,—
Пуховым клочьям по пути,
Дрожат серебряные нити,
Повисших в небе, паутин.

Поля—притихшие просторы,
Леса в золоченной красе,
И в вышине переговоры
Перелетающих гусей.

Вон мужики проводят лехи,
Вкусная восемипольный дар,
И грузный трактор в дымном смехе
Под зябь разбрасывает пар.

А на заваленке рядами,
В полуkolach согнув спину,
Безусые и с бородами
Гудят про займ и про войну.

Почти у каждого газета,—
— В таком краю, в такой глухи—
Родной поселок, ты ли это
За счастьем в будущность спешишь?!

По воскресеньям на опушке,
И под гармошку и без неё,
Звенят советские частушки
И песни наших новых дней.

А в городах сейчас—шумиха—
— Кладут асфальт, растут дома—
А тут тепло, свежо и тихо
И счастье ломит закрома.

Да, мы растем и в ширь и в гору,
И в этом росте—вижу сам—
Полей родимые просторы
Идут к заводским корпусам.

Пос. Орлово, Льгов у.

Ив. Ерин.

На ярмарке.

Пыль, оглобли, крики, ржанье—
 Над палатками, возами.
 Развеселое гулянье
 Молодежи на базаре.

Пестры кофты, красны юбки,
 Сарафаны, шелк, платки,
 Нарядилися голубки,—
 Краше мака расцвели.

Парни взглядами кидают
 Из под шлемов, картузов.
 Парни девок выбирают,
 Чтоб потом заслать сватов...

— Эй, девченка!... Красный фартук!...
 — Заходи, здесь лимонад!...
 Пыльно глазу, телу жарко,
 Деготь сочит в толпы смрад...

Сельди, ведра, хлеб мешками,
 Чугуны, горшки, сатин.
 Наприлавках ситцы, ткани
 Разложил кооператив...

— Эй, газетку!...
 — Свежий номер...
 Покупайте, старички...
 Пионер и комсомолка
 Носят свежие листки.

Книжек пестрые обложки
 Дразнят взоры всех новизной.
 У палаток потребилки—давка,
 Здесь ведь—дешевизна!...

Ситцы, ленты, булки, семя—
 Девки, дети окружили;
 Хомуты, колеса, косы—
 Мужиков приворожили...

Гонят кони мух хвостами,
 Змейкой вьется дерзкий кнут.
 Вместе с дерзкими словцами,
 Слышино—„Бах!“—корявых рук.

Там кобылами меняют,
 Здесь корову продают.
 „Могарыч“ там выпивают,
 Здесь неистово орут...

А на выгоне: Пижатки,
 Дудки, сочные сопилки—
 Хоровод вокруг собрали,
 Разжигая всем поджилки.

Парень с милкой, милка с парнем,
 В пляске носятся средь круга,—
 А кольцом обширным жмутся
 Их товарищи, подруги.

Над соломеной деревней,
 Над зелеными садами—
 Всю ночь лили песни древней
 Звуки—дудки, барабаны.

В перерывах комсомольцы
 Ловят радио-антенной,—
 Трудовые Коминтерна песни—
 Старым всем на смену...

Пряха Аксинья.

I

Аксинья намычки седые волокна
 Проворными пальцами тонко прядет.
 А зимняя ночь в закопченные окна
 На очи усталость и скуку кладет.

Старинная пряха жужжит надокучно.
 От пряжи удущивой пылью несет.
 Но с пряхой Аксинья живет неразлучно—
 За пряхой страдает и песни поет.

Уж— полночь... А нитка течет равномерно
 На вышушку ложатся: рядок на ряды,
 Как дни и недели забот непомерных.
 В лице отмечая желтизной следы...

Ей вспомнилось детство:—Был праздник пре-
 столъный...

Смеялося солнце на стеклах окон.
 С затерянной в синих садах колокольни
 Над крышами хат разливался трезвон.

По улице шли они с матерью в церковь.
 Наряды на них словно маки цветли.
 В овсах за селом кричал радостно перпел
 И звучно в садах лили трель соловьи...

У паперти церкви им встретился барин.
 Мать робко отвесила низкий поклон.
 А—барин мигнув ей, по локтю ударил,
 Велел по обедне явиться во двор..

На ясное солнце надвинулась туча,
 В верху колокольни прервался трезвон.
 В груди кровь сгустилась стыдливо и жгуче
 Слеза затуманила матери взор...

На утро— ея во дворе самодура,
 На поясе мертвой, под липой нашли...
 Аксинью ж—ея сироту белокурую—
 На кухню к кухаркам в науку свели.

Отец ея пить после стал непомерно
 И с ранней весною на Волгу ушел.
 Где умер бедняга бездомным наверно
 Иль пулю солдат царских грудью нашел...

II.

Другую намычку Аксинья с запечья
 Достала и гребнем вспушила, как пух,
 Как в юные годы косу по заплечьям
 Пускала, чтоб парням вывертывать дух.

Кастрики кусочки от зубьев гребенки,
 Как щепки у плотника, всюду неслись,
 Цепляясь за платье, за волос...

Сегодня

Они что-то с мыслями дружно сплелись.

— „На кухне Аксиньею мыкали всюду
 Кухарки сварливые с бранью, с пинком.
 Днем чистила овощи, мыла посуду,
 А ночью—рыдала с постелью вдвоем.

Но....свыклися думы с сиротскою долей,
 Сидела на серце лишь камнями боль.
 Аксинья росла... Ея щеки как зори
 Пылали, волнуя всем юношам кровь.

Бывало—пройдется с платком в хороводе
 Ударит под дудки в песок каблуком,
 Прискажет, припляшет и долго в народе
 О ней говорят...

Иль забравшись тайком

В вечернее время в темь черную сада
 Она с Ермолаем сидят, говорят...
 А звездное небо их радостью радо
 И птички в кустах о любви гуторят.

Эх.! Где эти дни золотые минули...
 Где счастье пылавших любовью сердец...
 Невытянешь ниткой его из кудели
 Пеньковых волокон, кастрики, колец!.

И сердцем почуяла скоро Аксинья,
 Что бьется в ней новая, светлая жизнь,
 Но мысль, что она воли барской рабыня,
 Что барский бесстыден к невестам каприз
 Вязала ей руки... И вместе с Ермилом

В саду не одну ночь гадали: „как быть“?!.
 Бежать ли в леса или с дедом Корнилом
 Покорно пред барином кудри склонить...

Свершилося... Ночью под тенью сирени
 Сердца их любви поцелуй на век слил.
 Потом Ермслай с дедом стал на колени
 Пред барином, чтобы им брак разрешил...

И в полдень в палату позвал ее барин,
 Подвел к Ермолаю и с лаской сказал:
 — „Вот муж тебе“... Щеки огнем запылали
 И камень от сердца сиротский отпал.

А вскоре она с Ермолаем пылая,
 С подругами, с сватьями в церкву пошли.
 Где поп обведя их вокруг аналоя
 Гнусаво поздравил на долгую жизнь...

Весь день длилась свадьба. Спились медом
 гости.

А в вечер, вдруг, барин за нею прислал.
 И—тихо в избе стало, как на погосте.
 И только Ермил как дитя зарыдал...

Не помнит Аксинья, как кони лихие
 Домчали с посыльным ее до палат.
 Очнулась лишь ночью, как звуки дикие
 Набата беселись над крышами хат.

Усадьба пылала... А барин в халате
 По комнате бился, как в клетке скворец.
 И—дерзкая была Ермила отплата—
 Насильнику тут же был смертный конец.

На утро его отыскали средь пепла.
 И вздох облегченья взмыл груди крестьян.
 А позже ея Ермолая засекли
 Нагайками слуги царя и дворян...

Опять промелькнули бессонные ночи,
 Опять слезы лились, как льется ручей.
 И только одна мысль сушила ей очи:
 — „Ермилин ребенок—под сердцем у ней“...

Родился сынок... Ермлай—как две капли.
 Аксинья в заботе не знала ночей.
 Всю ласку к Ермилу и в поле, и в хате
 Сынку отдавала, чтоб вырос мощней...

Прошло много лет... Уж состарилась пряха.
 Уж пыль от намычек давить стала грудь.
 Но нитка бодрее идет на рубаху,—
 Стал нынче бодрее в руках всякий труд...

Никитка ходил ея в школу зимою,
 Учился наукам по книжкам в ночи.
 А летом косою сам поле ржаное
 Клад ровно с росистою пылью в ряды.

И было легко с ним Аксинье на ниве,
 Исчез безвозвратно в темь строй крепостной.
 И только крестьян еще пуще давили
 Помещичьи земли, лежа за спиной...

III.

Намычки последние таяли ниткой,
Сбиваясь на вышке: рядок на ряды.
И мысли Аксиньи вились не прытко,
Рисуя последние свежие дни:

— Никита вернулся с войны возмужалым.
На поясе—шашка и черный наган.
Он вместе с рабочими—натиском бравым—
Из Крыма помещиков прочь выгонял.

И вот—на усадьбе, в помещичьем доме,
В палатах, сочилась где кровь из крестьян,
Открылась читальня, в которой законы
Земельные он каждый день разъяснял.

Читали крестьяне в ней книги, газеты.
Иль в праздник на сходку собрав бедняков
Никита давал по хозяйству советы,
Учил как бороться против кулаков.

Пошли по селу о земле разговоры.
Что день—то на сходе идет руготня.
Никитины-ж речи в конец все раздоры
Разбили, запав в грудь каленей огня...

И вот—на полях, где роняли крестьяне
Пот с кровью за плугом иль с острым серпом,
Где жир дармоедский копили дворяне
Все годы с последним проклятым царем,—

Там присланный с города, с черных заводов—
Победные крики над нивой разлив,—
В минувшее лето все межи загонов
Стер трактор, сгоняя дворы в коллектив...

Там нынешним летом впервые Аксинье
Досталось с подругами легко вздохнуть,
Увидя, как дети их чудомашиной
Жита золотистые со стрекотом жнут...

Сейчас мужики все собрались в читальне
И слушают, видно, Никитин отчет...
А зимняя ночь воем выюги нахальной
С Аксиньиной пряхой песни поет.

Так в хатах уютных крестьянки и пряхи
Ночь зимнюю делят. Иль сердце открыв,—
Склонившись с иглою над новой рубахой
Былины складают о муках былых...

M. Горбовцев.**„ОДЕЯЛО“.****О жизни.**

Похожа жизнь на лицевую сторону лоскутного одеяла. Отдельные случаи—куски сшились—стачались в ней самыми разнообразными цветами и узорами: тут и красные, тут и белые, и в полосочку, и с горошечкой.... У портних—судьбы одни люди—родные дети, а другие—пасынки; жизнь одних она тачает узористо-затейливо, из цветов ярких, а жизнь других—как попадя, из цветов преимущественно мрачных и лишь кое-кое где вставит лоскутик с искоркой...

У бессердечной смерти нет ни сынов, ни пасынков: ее забота обвести каймою одеяло.

Свернувшись втрое—четверо лежат в моей черепной коробке одеяла—жизни. Сколько их—не знаю точно, но знаю—много. Зачем они лежат—ответить тоже не могу. Память—антиквар зачем то собирает их. Смешная, должно быть боясь моли—времени, она их часто растилает передо мной, а я гляжу и, почему не дам отчета. Одеяло Августа Августовича Гютней мне кажется особым одеялом....

Лоскут 1-й. Архив.

В архиве прожитого Август Августович отлично помнить ученье в реалке. Проклятое ученье.... Вот уже 37 лет прошло, как бросил реалку, а и теперь в ужасе просыпается, если привидится реалка. Туговат был череп у Августа Августовича, хоть и емкости котельной. Гусеницей вползали туда всякие нужные сведения из географии, геометрии и прочих наук. Правда, если паче чаяния, что либо—проникало, то оставалось вечно. Так например: поверку умножения путем приведения к одной единице Август Августович помнит не хуже любого профессора математики. Но что такое в математике какая-то проверка умножения, путем приведения к одной единице? Зато Мадагаскар только маячится. И что такое Мадагаскар полуостров или остров, залив или пролив,—Август Августович сказать не может.

Так, кое-как, дотянулся до 4-го класса. В пятый класс не перешел, а в четвертом четыре года сидеть не полагалось и решил старый пивовар— заводчик Гютней:

— В 18 год, с четыре клянца реальный, при мой связь, та 75% немецкий кров,—полне проживет, а первый времья нужно побаловать.

Побаловал. Купил штатский костюм, дал 25 рублей и как приятеля похлопав по плечу, весело, не как всегда, сказал:

— Отдыхай неделька, другой...

Лоскут 2-й. Блин 1-й.

На первой же отдохновенной недельке Август Августович заразился насморком. Не просто насморком, а „кавалерийским“ насморком. Недели две проносил его в

секрете от врачей и строгого отца,—все думал сам пройдет. А когда стало не вмоготу, когда пришлось циркулем расставить ноги,—пустил слезу и со слезой к отцу. Никаких родительских переживаний не отобразило лицо пивовара.

— Вот, больван, еще 25 руб. и иди к доктор.

Вылечил доктор. На то он и доктор, на то и написано у него на дверях на белой досочке: „По кожным и венерическим“.

Лоскут 3-й. Блины последующие.

Первый блин жизни выпекся комом—бездетность памяткой осталась о блине. За то другие последующие, пеклись отменно. Акцизным надсмотрщиком на табачной фабрике „Урсал“ Август Августович об‘явил такое богатство, как пунктуальную точность, неподкупную честность и образцовую аккуратность.

Три пересчитанных китища подметило начальство и, вывев резюме: „чиновником зачат в утробе матери“,—назначило его контролером на сахарный завод. Хорошая должность выпала. Мечтал о ней Август Августович. И жалованье хорошее. Жениться теперь надо.

Лоскут 4-й. Интродукция к женитьбе.

В зимнюю мятельную ночь, лежа под байковым одеялом, вспомнил он девушку с черными пуговочками—глазами, с нижепоясными косами и белокочанными грудьми. Лет 5-т тому назад в одном доме жили: он—в верхнем этаже, она—в нижнем. В субботу было. Случайно как-то в расщелину оконных ставень увидел Август Августович, как Душечка ложася спать и меняя рубашечку, щекотала ладонями рук свои еоски цвета корицы. Обезумел тогда Август Августович. Хотел-было зубами изгрысть ставни, рамы, все на свете и добраться до Душечки. Да где-ж: немыслимо дело изгрысть зубами рамы... От воспоминаний сладостью зудливой поднялись откуда-то мурашки и электричеством забегали по телу. С досадой не то с болью Август Августович проржал:

— Эгг.....

Лоскут 5-й. Женитьба.

Все решили зудливые мурашки. Нашли оправдание и тому, что Душечка старше Августа Августовича тремя годками, и тому что 28-ю пасху собиралась есть. Все аннулировали пословицей—„Старый конь борозды не портит“. Безд сватов и без свах женился Август Августович. Очень просто женился. Одел форменный сюртук, двухкокардиную фуражку, шпагу, галаманже, сел на утренний восьми часовской поезд, в двенадцать пообедал совместно с Душечкой и ее родителем, а равно в четыре с четвертью, того-же дня, сказал (с предыханием, застенчиво):

— Дарья Ивановна, я хочу жениться... и после паузы добавил:

— Хотите быть моей женой?...

Знала Душечка зачем приехал Август Августович. Три дня, как у гадалки была. Ясно карты пали: по ранней дороге в скорости перемена жизни и интерес от марьяжного короля через бубновую десятку. Только и ответила:

— А любить будете?

Не голосом, а сгустком страсти крикнул:

— Ох, как...

И жеманул пойманную Душечкину руку. Экстазно жеманул—ажь пальцы затрещали и на глазах у Душечки, не то от боли, не то от радости, показались слезы.

Узнал после Август Августович, что была Душечка в чьих-то руках до него, раздул было ноздри до ушей, да вспомнил „про ноги циркулем“, про „старого коня“ и „богороду“ и ничего не сказал.

И зажили...

С расчетцем зажили: из трех рублей—рубль на еду, на одежду, и рублик в банк на черный день и самым милым рубликом—был рублик банковский.

Лоскут 6-й. Как бывало.

Приятно жилось Августу Августовичу. На службе перед ним лебезил сам директор:

— Нельзя-ли, Август Августович, неучтенным сахарком мешка досыпать... В складе рабочие порвали...

Сдвинет брови Август Августович к переносице и низко, с трещинкой:

— Нельзя... По инструкции не допускается...

А сам совою смотрит.

Потирает руки директор, выюном вьется, дымом растится:

— Что вам стоит... Инструкция—инструкция... А вы без инструкции...

Еще ближе брови сойдутся:

— Ясно, ведь, сказано—не допускается...

Или бывало сторож:

— Господин арцизный! Директор приказал в кабинет явиться.

Резко, резко:

— Скажи, что я ему не подчиненный и приказывать мне он не имеет никакого права...

А через несколько минут опять:

— Ваше благородие! Я не так сказал: Директор просил Вас пожалуста зайти к яму.

Важно так:

— Это другое дело. Скажите, что упаковку бросить не могу и если ему нужно, пусть сам зайдет.

Так-то было. Здорово важничал Август Августович, умел важничать.

Лоскут 7-й. 18-й год.

Без мрачных лоскутов тачалось одеяло до-революционное.

И завидное должно быть получилось, если-б история Российская не докатилась до 18-го года. Эх, восемнадцатый год! Многие его будут помнить, долго будут помнить.

Перво—наперво: Десять тысяч золотцом приказали долго жить и очень не печалиться. Даже тенью своей—бумажками—и то аннулировались. Брали их как-то еще в 13-м году Август Августович из банка.

Целый вечер сидели с Душечкой по столбикам раскладывали. А когда стали прятать,—не знали куда прятать: в сундук—найдут, в печку найдут, где ни спрятчь найдут. Тревожно переспали золотенькие в ногах под периной. Вовсе не спал Август Августович, а Душечка всю ночь слышались какие-то подозрительные шорохи. И решили: на другой день, немедля ни минуты, отвезти опять их в банк. И как свезли—больше не привезли.

Лоскут 8-й. Памятный день.

Не помнит точно Август Августович. Затрялась где-то та бумажка, но смысл не затерялся:

„С сего числа фабрики и заводы обявляются государственными, а потому продукты производства обложению акцизом не подлежат и акцизный аппарат, как не нужный, упраздняется“.

Памятный день. В записной книжечке чернильным карандашом отметил его Август Августович. С него—„сего числа“ и началось хождение души по мытарствам.

Лоскут 9-й. Голосок.

Другим голосом заговорил Август Августович с директором. Не голосом, а голоском (нужда-сирота где-то выкопала его):

— Вот, Абрам Соломонович, упразднили акцизный аппарат. Нельзя ли хоть статистиком к вам пристроиться?

Политик директор. Еще все может быть: власть неустойчивая и благодетель показать нужно, но голос уже не тот—сиропный, а безстрастный:

— Места заполнены. Носа ткнут не куда. Ну, да для Вас может быть что-либо и сделаем. Зайдите завтра.

Поизмывался директор. Недели полторы ходил. пока статистиком назначили.

Лоскут 10-й. Мытарство приспособляющееся.

Предварительно все Душечке доказывал. Не научно доказывал, а так, путем наслышек и собственных умозаключений, стекавшихся в теплое море формулировавшееся словами:

— Хороша идея коммунистов—все равны...

Так и мотивировал свою запись в заводской ячейке РКП.

Записали. Записали и назначили Предревкома— заводской шишищей.

Девять дней проревкомил. А на десятый приехал из уезда какой-то инструктор и заявил:

— Вы что тут всякого барахла понаписали (и прямо пальцем): Вон этот старик уже три года, как на том свете в дезертирах числится, а вы его в партию...

И с нежностью:

— А ты, милый старишок, сматывай удочки и холодком отсюда... Холодком... Раскрыл было рот Август Августович, хотел что-то сказать и ничего не сказал,—слону только пожевал.

А инструктор не говорит, а гвозди забивает:

— Вы знаете что такое партийный человек?—Это несокрушимая стена, это человек, который за партию в огонь и в воду, и под расстрел, и черту в зубы. Вы, вот, позаписались, а завтра на фронт... Пойдете? А не пойдете—значит шкурники, из за пшеничной муки понаписались значит...

Долго говорил инструктор. Из сорока семи кандидатов на третий день только пять осталось.

Лоскут 11-й. Мытарство последующее.

Не жалел долго Август Августович о хорошей идее—все равны.

Рассудил по другому. Гибко мыслил.

— Равны-то равны, да лучше не ехать на фронт, лучше сидеть статистиком и пожевывать овсянку, а лба за это самое „равны“ не подставлять.

Одобрила новые выводы Душечка. Одобрил их и июль 19-го года.

Коршуньем поналетели пестрые корниловцы и всякие марковцы. Лица азартные, зрачки жрачками, ищут святыню,—собственность.

— Где тут те, которые ругали бога и святу церковь? Указывайта на коммуню, мы с ней живо, а не то и вам по двадцать пять!..

Всех показали, без шомполов-бы показали, девятидневнички все были.

Лоскут 12-й. Вынужденный визит.

У поручика лицо безусое, девичье, прическа бабочкой, бриджи широченые. Весь нежный, вылощенный. Сидит он, чванно развалившись в кресле, в гостинной отца Ильи, рядом с угодливым Ильей, и, нарочито картавеньским, тенорком приказывает:

— Гашю впышкать па аднаму.

Не вошел, а медведем на задних лапах ввалился Август Августович.

Губы выкроили приятную улыбочку, глаза приветцем засверкали. Заметил поручик—обиделся:

— Я Вас невгости звал, не забывайте...

— Именно...

Одобрительно кивнул отец Илья.

Мигом слетели куда-то улыбочка с приветцем, а взамен их робость дрожащей мышью вылезла откуда-то и остановилась в глазах.

Сердце заекало сильней, стучит чуть не вырвется. А поручик—важно, с достоинством:

— Вы, говорят, был в пагтии этих мегзавцев. Скажите, что вас побудило к ним затесаться?

Откровенен Август Августович, как на духу.

— Да так, знаете, вижу, что не коммунистам с голоду подыхать, ну и записался. Жить, ведь, хочется. Я всего девять деньков и был.

— Занимались агитацией в пользу жидовско-хамской власти?

— Нет... Что Вы. Моя мать дворянка... Под Москвой четыре дачи своих было... Отец...

С улыбкой выслушал поручик развернутые летописи и нетактично молвил.

— Шельма вы стагая, хоть и простачком прикидываетесь.

И не по возрасту нравоучительно закончил.

— Иди старик и впредь не греши.

Лоскут 13-й. Бог христианский и бог революционный.

Счастливо отделался Август Августович, но бога надул. Когда шел, мысленно обещал, в случае благополучного исхода, поставить свечку за четвертакочок, а поставил всего за гривенник. Впрочем отделался-ли совсем?—Ведь окружной надзиратель ясно сказал:

— Окончательное прощение только тогда возможно, когда возьмут Москву и ударят в колокола всех сорока сороков и то по особой амнистии.

Снова пришлось интриговать бога. Так обещал Август Августович.

— Когда полной грудью вздохну, когда получу обратно чины и ордена, тогда и доставлю причитающуюся с меня 15-ти копеечную свечку.

Не ударили московские колокола. Не воинственные, а хозяйственные оказались поручики. С сундуками и росписными коврами проехали обратно. Свадебным поездом проехали. Без сорока сороков вышла особая амнистия о помиловании, бог христианский вышел не при чем и пятнадцати копеечной свечке осталась в ящике ктитора, в резерве.

Лоскут 14-й. 19-й год.

19-й год был мрачным лоскутом в жизни Августа Августовича. Ржавчиной остался на душе и даже внешне отпечатывался: усы раньше были как у мопса хвост, а теперь моржовыми стали—повисли. Даже 22-й неповский год и тот не поправил их. А хороший был год. По началу как будто заткал большой лоскут—главу розовую.

Лоскут 15-й. Розовый.

Глазищи Августа Августовича веселую искру мечут.

— Вот, Душечка, смотри, невзрачная бумажка и писана мало, и штамп неясный—прямо взять, помять, да и...

Смотрела Душечка овечкою на новые ворота. Недоумевающими, вопрошающими маслинками смотрела и руки, как всегда, сцепившись пальцами, покоились на горке—животе.

— А ну-ка, слушай!..

И воркотуночком зачитал:

— Бывшему акцизному контролеру Августу Августовичу Гютнэп. В связи с введением косинспекции, вы назначаетесь помощником инспектора....

Полуминутная пауза. Рачеобразные глазищи оторвались от бумажки и сверкнули жизнью. Знаком восклиательным, многозначительным вдруг встал над головой палец указательный.... И снова голодной пьявкой впились глаза в бумажку и сосут букву за буквой, строчку за строчкой до самой последней подписи:

— Вы назначаетесь помощником инспектора ко-свеных налогов при Светлоярском сахарном заводе.

Эх, положение, калечишь ты людей! В позе Пожарского стоит уже Август Августович и угрожающе трясет прочитанной бумажкой. И хоть не видно „их“ кричит:

— Довольно в четыре погибели погнули! Довольно кровушки моей попили!

А то....

На время принимает облик своих угнетателей, губы выпячивает и голосом с гнусавинкой:

— Август Августович, сделайте то-то.... Август Августович, почему не сделано вон то-то.... Август Августович, что Вы там копаетесь, как старый дед?!

И в прежней позе, твердо торжественно:

— Узнаете теперь Кузькину мать....

И голос уже не тот воркотунот, которым бумажка читалась, а громовой, канительный. Редко говорил им Август Августович.

Лоскут 16-й. Конфиденциально.

Хитрец директор. Сам говорит о белизне и кристаллизации сахара, а сам все теснит Августа Августовича в сторону, подальше от рабочих. А когда оттеснил в угол—конфиденциально, одному Августу Августовичу слышно.

— Вы знаете—на резке мотор сгорел. Пока поставили запасный, а тем временем нужно купить новый. Денег нет и, кроме того, в Раусахар необходимо свезти кое-кому фунтиков по десяти. Так вы тут не препятствуйте, если я пришлю рабочих набрать мешочек неучтенного...

По старому сдвинул брови Август Августович к переносице и строго с прежней трещинкой:

— По инструкции не допускается.

Взбеленился директор. Ключем белым закипел и рабочих не побоялся. Заорал:

— Ну мы вас уберем.

И гончим к выходу помчался.

Лоскут 17-й. Так 27 лет.

Завод идет. Отчетливо звонит резка. Сонливо—моно-тонно гудит трансмиссия. Шуршит, шумит по трубам песок. Цокают коромысловые весы. Упаковщики кричат, ругаются. Ничего не замечает Август Августович. Атрафировался за 27 лет. Знает только свое: сидит и таращит буркльные глазища на утиные носки коромысловых весов,—чтоб туфелька в туфельку сходились. По инструкции работает. Целое взвешивание псом верным сторожит, чтоб—золотника одного без акциза не пропустить.

Но что грешить,—работает за страх.

— А вдруг ревизия. Мало что уволят—еще под суд. Саботажник скажут.

А служба—масляница не служба. Три месяца в году работал раньше, а в революцию—всего один. И в чем работа? Смотреть чтоб точно весил весовщик, проверить мешочки в штабелях, запломбировать сахарный рукав, подписать дневную запись в учетной книге, а затем—домой. А главное—никто вам не указ. Но где же еще найдешь такую службу? Держаться за такую службу нужно руками и зубами, клещуком держаться.

Лоскут 18-й. Га—Киш! Га!..

Весело влетел в упаковочную почтарь. Будто не заказное письмо принес, а двести тысяч. Весело было и вскрыл его и Август Августович, да не весело было уже на пятом слове короткой препроводительной. А само приложение—выписка параграфа 1-го из приказа по Губфинотделу—горячим душем обдала.

„Помкосинспектора на Светлоярском сахарном заводе Август Августович Гютнэп для пользы службы переводится на ту же должность на Темноярский сахарный завод“.

Дурак и тот бы догадался чьих рук дело. Осиновым листом трясется выписка в руках. А директор как-будто ничего не зная, зашел в упаковочную и глупо, ни к кому не обращаясь, прокричал.

—Га—киш! га—киш!

И трепнув, как крыльями, руками—лукаво улыбнулся и быстро убежал.

Лоскут 19-й. Начальник станции.

Часть монаток пришлось продать, а другую часть—упаковать и в вагон. Ливня льют дожди, крыша вагонная течет, а мошенник—начальник станции все не отправляет. Четверть бурачного самогона вылакал, пять цыплят с'ел, а вагон все стоит в тупике, за версту от станции. Продрогла Душечка. Лихорадочными пузырьками обметало

губы. Нос покраснел, засоплился. Лежит на корзинках, завернувшись в шубу, и ругает на чем свет стоит и директора, и Губфинотдел, и больше всех Августа Августовича. Ругается и Август Августович. Ходит от станции к вагону и обратно и ругается. После третьей четверти только смилостивился начальник станции: затарахтел вагон.

Лоскут 20-й. На новом месте.

Не веселой погодкою приехали на новый завод. Не приветливо встретила новая квартира—казарма: сесть и то не на чем. А душечке день-ото-дня не лучше, а все хуже. То ходила, а то совсем слегла. Слегла и больше уже не поднялась: в агонии, с проклятиями начальнику станции, директору, Губфину и Августу Августовичу,—представилась.

Лоскут 21-й. О горе.

По началу казалось, что горе безконечное, а оказалось что года не прошло, а Август Августович уже шутил с Главбухом. Главбух одной ногой стоит в могиле—очень древен, пять лет уже, как в анкете пишет 64 года (боится чтоб не уволили), а скабрезности лучше меда любит.

— Август Августович, жениться хочется?

Голос блаженненький у Августа Августовича; а гла-зищи озорством, сверкают.

— Стар стал, куда там...

Вперится Главбух сквозь синие стекла очков одним бедовым-зрячим глазом и спокойно, а у самого губы так и пляшут:

— Это теперь полдела. Вы только не зевайте—пишите заявление. После завтра будем заводского жеребца выкладывать—можно обмалаживание сделать.

И засмеются оба: главбух—с потряской бороды, а Август Августович—со вздышманьем живота.

Лоскут 22-й. Народ.

Неприветлив народ на новом заводе—насмешки все. Докапались, что фамилия Августа Августовича, когда читаешь ее с конца к началу, не Гютнэп, а Пэнтуог и всякий молокосос конторщик не меньше как три раза на день задавал один и тот-же идиотский вопрос.

— А Вы знаете, Август Августович, что вы сзади Пентюх?

Не прежние времена,—обезличила революция хороших людей. Силой ничего не сделаешь, приходится лавировать. Лавирует.

— Где-ж пентюх?—не пентюх, а пентюг, а такого слова в русском языке нет. Значит абсурд.

А им—мальчишкам об'ясняй-не об'ясняй-свое твердят.

— Нет все равно.

Или.

Собрался как-то Август Августович в соседнее село проверить обыденкою свидетельства на под'акцизные

товары. Как следует собрался: сперва фуфаечку одел, потом жилет обыкновенный, за ним—кожаный, потом пиджак, потом пальто, на все на это—николаевку на смушках, а сверх всего—брзентный плащ. Ну что-же, что месяц Май, а в Мае разве снегу не бывает? Тепло оделся А когда заехал в контору, чтобы на почту передать пакет,— так всей конторской сворой заорали;

— Досвиданья Августа Августович! Вероятно, отыскивать восточный полюс едете?!. Кланяйтесь от нас гиппопотамом!

— Вам нужно еще зонтик не забыть!

— Что-же вы на воз только подушки положили—класть тах и перину нужно класть.

И сам администратор. Коммунист ведь и серьезность корчит, а туда-ж, к мальчишкам;

— А что у Вас, Август Августович, в этом чемодане (и руки на сажень) должно быть карандашик и клочек бумаги?

Народец—нечего сказать.

Лоскут 23-й. Приятель.

Один только главбух и человек, как человек. По—долгу бывало беседовал с ним Август Августович. То пошутят, а то и дельно поговорят. Про старое и новое большую частью говорили. Задумается иногда Николай Петрович, мечтательно, а потом начнет.

— Да... скоро нас—стариков коммунисты всех омолодят. Скоро всех пошвырнут кавуны стеречь. По прежнему я бы теперь на пенсии у графа был. Любовался-бы теперь под кипарисной тенью Черным морем и слушал вальс „Ласкай меня как я хочу“, а теперь если выкинут—и кипарисный крест...

— Да... согласится Август Августович, раньше таким людям, Николай Петрович, как мы с вами, почет был. Ведь геммороем и катаррами достигались наши положения, а теперь—все мальчишек безграмотных суют.

Тонко распускает паутину Николай Петрович.

— Не нужно дураками быть. Через три—четыре года непартийному не будет места. Наше с ваши дело заботиться о прозапасе. Вы приходите сегодня ко мне чай пить.

Лоскут 24-й. Чай.

Рассеянно болтает ложечкой в стакане Август Августович, а одноглазый главбух бесом—искусителем бубнит.

— Конечно, если быть орлом стервятником—украсть мешок, то в случае чего,—засудят. А если быть ягнятником и свистнуть мешочков сто—можно быть покойным—ничего не будет: везде замажем. А человек надежный есть—плантатор. Раньше десятин по полторасто сеял.

Боится Август Августович.

— Страшно, Николай Петрович. А вдруг в тюрьму? и растрелять ведь могут?!

Шмелем гудит главбух.

— Тюрьма—тюрьма... Да ведь в тюрьме казенные харчи. А если при аттестациях прекрасных придется с голоду подбокнуть,—тогда что?

Сдается понемногу Август Августович.

— Ну что-ж... разве по мешочку?

Серчает Николай Петрович.

— Вы как ребенок рассуждаете. На черта нужен он—мешочек. С мешочком живо в тюрьму влетиши.

И убедительно.

— С заведывающим складом я уже говорил. Он согласен. Дело должно, безусловно, выгореть. А если выгорит,—то перспективы сами представляйте: на днях из Крыма приехал мой знакомый и рассказывал, что за пятьсот рублей (конечно, золотом) там можно домик с садиком купить. Великолепный домик.

Попал случайно Николай Петрович в точку Августа Августовича,

— Ах... домик с садиком... в Крыму?!

Дом с садиком в Крыму—давнишняя мечта его. Решил, безповоротно, но с волненьем:

— Эх, если-б бог помог?!

И тут-же в мыслях пронеслось.

— Должен помочь. Большевики ведь игнорируют его. Значит за нас он будет.

Лоскут 25-й. На ноевых ролях.

И с божьей помощью начали. Бухгалтер пишет ордера, завскладом отпускает, а Август Августович в записной книжечке на предпоследней страничке—учет ведет:

„10 октября—10 мешков х 6 пуд. = 60 п. х 8 руб. = 480 р.

„11 октября“...

Мелко, но отчетливо подписаны цифирка под цифиркой и летуньи птички—значки проверке, везде проставлены. Трепетно было когда первый транспорт отправляли, а когда отправили четвертый,—Август Августович был спокоен.

Лоскут 26-й. Гастроль 1-ая.

Мерзавцем оказался плантатор Пузырев. Когда решили на семидесяти мешкам остановиться,—он нагло заявил:

— Я вас ни ведать не ведаю, ни знать не знаю и никакого сахара от вас не получал..

Эх, было счастье, в руках почти что было, да поплыло. Нервно щиплет волосы главбух в бороде и на голове, а Август Августович зло ругается.

— Вот сволочи... Недаром кулаками окрестили их Советы.

Лоскут 27-й. Гастроль 2-ая.

Ну кто-ж не наблюдал, то медленно так ткутся и тачаются куски, а то вдруг быстро, быстро заткнутся—затачиваются. С азартом справиться большие нужны силы. По-

дыскали нового подрядчика. Хороший малый подрядчик новый, только жена его одна дурой оказалась: похвасталась сестре своей, та мужу, а муж свату. И покатилось, пока не докатилось до агента угрозыска. Хороший малый—подрядчик новый. И агент угрозыска похвалил: ничего не скрыл, все до последней уговорной строчки рассказал.

Лоскут 28-й. Последний.

Последний лоскут узорница-судьба точала уже под вечер, когда подслеповатое осеннее солнце, облакотившись о край земли, насмешливо скользило по пурпуру груш, по золоту осин и, кровяно отражаясь, горело в окнах заводских квартир.

Август Августович выезжал с заводом навсегда... Ехал в уездный город, на казенные харчи...

Л. Чемисов.

Товарищ Урожай.

Веселит мужичка
Дума тайная,—
Лето вышло, гляди,
Урожайное!..
Вышли-любо глядеть
Рожь с пшеницею;
Возы прут к ветрякам
Вереницею...
Гречка, просо, овес—
Незапамятны.
Книга помощь дала
Людям грамотным.
Видим: польза от книг
Нам огромная,—
И наука важна
Агрономная...
Нет довольней, сытней
Нашей нации;
Спешим займа купить
Облигации:

Сл. Михайловка, Льговск. у.

Н. Романовский-(Юнак).

К о с ь б а .

Другу Ивану Караб.

Я вышел в поле на заре,
Шептались сонные колосья.
В кубышке квас, в котомке хлеб,
А в сердце радость нес я.

Вперед меня шагает дед...
Цветы головками кивают,—
И темной нитью по траве
Наш след куда-то убегает.

За полдень. Солнце припекло.
В рубахе красной телу душно...
— „Гляди-ка, Коль, вот так зерно!“
Нагнулся дед: „Возьми, покушай“...

Во ржи кричат перепела,
Лицо у деда в смехе тонет,
А на ладони два зерна—
Большие, как мозоли.

Коса заливисто звенит
Во весь стальной свой голос,
К земле макушкою приник
Ядреный, спелый колос.

И до второй росы косьба,
А в сумерки домой шагаем...
Залыются нынче закрома
Золотокудрым урожаем!

Срана моя! Советский край!
Край непочатой силы!
Мы скоро снимем урожай
С твоей великой Нивы!

Ж и з н ь .

Ах жизнь моя, широкий шлях,
О, как тебя люблю я!
Опять вокруг меня поля
И мама милая моя
Меня смеясь целует.

Какой размах! Какая ширь!
Как сердце бьется рьяно!
Я здесь опять, полей веселый сын,
Пришел с приветом к ним простым,
Их лаской пьяный.

Над сельсоветом алый флаг,
Впились в него глаза оконниц
Какая ширь! Какой размах!
Деревней сделан новый шаг:
Предсельсовета—комсомолец.

А вот еще „Крестьянский К. О. В.“
Стоит изба, к земле осев.
— „Купили парочку плугов,“
Сказал один из мужиков:
„Пойдет по новому посев“.

В полях горбатая соха,
А плуг еще так редок.
Деревня, милая моя,
Придут деньки и трактора
Взревут победно!

Ах жизнь моя, широкий шлях!
Летите дни, как птицы...
Нам нужен трактор, не соха,
Что-б городом поселок стал,
Деревня каждая—столицей!

И В А Н.

(Рассказ).

Все это произошло так просто. Ночью в Шепетовку прискакал из волости нарочный. Разбудил всех собак и старосту. Что-то сказал ему, передал пакет и уехал. Десятский забегал по дворам, заколотил в окна:

— Скореича собирайтесь все... На сходку!..

И когда собралась толпа, сливавшаяся с серым рассветом, староста, срывающимся голосом начал:

— Вот приказ из волости... К обеду доставить в волость Ивана Лихова, Проньку Махова... И маво Ваську!..

Как по команде заголосили бабы, не понимая в чем дело. Голосили с долгими вычурными причитаниями. Мужики ждали, что дальше скажет староста:

— В бумаге прописано: на войну их!.. С германцами...

Иван слушал тут-же, но ничего не понял, за криком и визгом баб. Знал он, что где-то идет война, но при чем здесь он и те двое—он не знал. Мать бросилась ему на шею истошно говося. Иван только с изумлением посмотрел, на нее.

— Ванечка-а, сы-ыночек мой!.. Д-на кого-ж ты меня спокидаешь?..

Проньку и Ваську тоже обнимали и голосили над ними, как над покойниками. Ивану сделалось страшно...

Дальше Иван помнит как мать укладывала ему в мешок лепешки обильно политые маслом и слезами, пару чистого белья и новые портянки.

А когда из-за туч краешком блеснуло солнце, всех их троих посадили в тряскую телегу и под причтания баб староста повез их в волость. Всю дорогу у старости, как у пойманного зайца смешно прыгали губы, а красные глаза впились в лицо сына...

В полдень приехали в волость и смешались с кучею таких-же скрипучих и тряских телег, с шершавыми лошадenkами и группой недоумевающей мужиков и парней.

Потом их осматривал доктор. Приставлял к груди какую-то трубку, выстукивал и заставлял кашлять. В большой стеклянной двери, Иван увидел в первый раз отражение своего тела. И поразился своей худобе, неуклюжести и еще тому, что кожа была вся какая-то синяя, в мелких пупырышках. Военный крикнул:

— Лихов Иван, подходи!

Иван сначала не понял, кого это зовут, но потом шагнул вперед скрестив руки ниже живота. И его, как других щупали, выстукивали, взвешивали и мерили. Доктор смотря сквозь очки, обдавая запахом спирта и гнилых зубов буркнул:

— Этот сойдет, в пехоту. Здоров... Одевайся!

Почему-то Иван ухмыльнулся и натягивая штаны стал искать глазами односельчан. Пошел к выходу, но там его задержали двое людей в серых шинелях:

— Куда! Не сюда, вон направо...

Иван вошел в другую комнату. Там стояло много таких, как он парней и следили за быстро бегавшим первом писаря. Он не глядя на Ивана прохрипел:

— Ты Лихов?.. В пехоту.

Второй раз Иван услышал непонятное слово „в пехоту“. Стоявший с боку солдат подтолкнул его локтем в следующую дверь..

Вечером Ивана и других парней погнали за пять верст на станцию. Иван обратился к шагавшему рядом солдату:

— А, что мил-человек, домой нас скоро отпустят?

Тот, как-то удивленно выпучил глаза и ничего не сказал в ответ.

* * *

Всех их посадили в простые товарные вагоны. Колеса уныло застукали на стыках рельс. Иван понял, что они движутся. Это была первая его поездка по железной дороге. Куда их везут он больше не спрашивал. В вагонах было тихо, хотя новобранцы сидели тесными рядами, прижавшись друг к другу. Ехали всю ночь, а утром привезли в большой еще спящий город. Гнали по улицам эту нестройную толпу, дрожавшую от утренней сырости. Поместили в длинные, сбитые на скоро из досок бараки. Сводили в баню. Иван не узнавал себя глядя в окна магазинов. Там отражался какой-то другой человек, в серой шинели, с наголо остриженной головой. Казалось, что это сон, который тянется слишком долго... Дальше было так: собрали всех новобранцев в один барак, что-то много им говорили. Один все кричал:

— Вы призваны послужить своей великой родине, в годину тяжких бедствий... Вы должны защитить ее от злобного врага. Помните, вы теперь солдаты великой армии, благословленной богом на новые подвиги... Царь и бог смотрят на вас и видят в вас честных защитников чести российского престола и православной веры!

Потом целыми днями маршировали. Ивану плохо давалась эта наука и часто толстые кулаки начальства впивались в переносицу и губы Ивана. Глотая и размазывая по лицу липкую кровь он старался вышагивать в такт с другими. А по ночам болели уставшие ноги, в голове копошилась мысль:

— Чем же все это кончится? Что еще будет?..

Пробовал молиться. Шептал слышанные в детстве у бабки молитвы, смешанные с заклятьями, но это не помогало. Не было легче...

Только перед светом засыпал тяжелым сном, но труба горниста как будто подкарауливалась этот момент и своим медным тягучим голосом приказывала вставать...

Винтовка давила своими десятью фунтами на худые плечи. Десять фунтов к концу дня превращались в пуды. Кормили плохо: какое-то свиное пойло называли „супом“, вонючую жижу—чаем. А Ивану хотелось квасу и простых деревенских щей.

* * *

После трёхмесячной науки Иван наконец понял, что он должен забыть деревню, должен научиться хорошо маршировать, колоть штыком, бить прикладом, что бы победить потом этих зверей—немцев.

Их полк погрузили в вагоны и опять монотонно затапали железные ноги вагонов по стальным колеям. Но ехали теперь не так,—как раньше. Громко орали песни выученные в казарме:

— Ура, ура, ура,
Идем мы на врага!
Всех немцев мы побьем;—
Вильгельма в плен возьмем!..

Проезжая мимо сгорбленных деревушек махали шапками, высовываясь из окон и дверей... Стреляли в воздух и кричали: „ура“... Иван тоже пел и стрелял вместе с другими. О, теперь-то он понимал, что все это необходимо для победы над немцами! Немцев он представлял себе, по рассказам других, так: это огромные толстые люди—звери, обросшие сплошь рыжими волосами. Они бусурмане—язычники, а поэтому питаются христианской кровью. Значит их нужно, бить, нужно уничтожить!. И он воображал, как будет колоть и стрелять этих немцев, балакающих на непонятном языке, как будет драться за свою родину и царя. Как-то взводный обронил слово:

— Скоро!

Скоро приедут туда! Прошло еще два дня томительного сидения в вагонах. Близость фронта начала чувствоватьсь острее. Параллельно движению поезда громыхали тяжелые обозные фуры, походные кухни. Навстречу ехали подводы беженцев, до верху нагруженные детьми и разным хламом.

Поезд стал на маленькой, кишевшей людьми станции. Приехали! Дали отдохнуть только сутки, а потом солдаты услышали;

— Завтра на передовую позицию!

Иван почувствовал, как внезапно сердце перестало стучать, потом — ничего, опять наладилось. Сел чистить винтовку, пришил к шинели оторвавшуюся пуговицу, выбил пыль.

Утром погнали дальше. Шли выбивая шаг, как на ученье. Мимо проносились верховые, обгоняли орудийные батареи. Один молодой кавалерист бросил в шутку:

— Эй вы, пехтура! Покажут вам там немцы...

Как-то сразу у многих осунулись лица, в голове бродило:

— А вдруг не я немца, а он меня...

* * *

Вдали как гром ухало что-то. Фронт продвинулся вперед. По дороге валялись сломанные колеса, ящики, патроны. Попадались лошадиные трупы, с выпущенными кишками, с зияющими ранами. Санитары уже успели подобрать раненых и убитых.

Иван шел, как автомат. Думал о деревне, о том, что он до сих пор не послал матери ни одного письма и та не знает где он. Над головой Ивана, что-то взвизгнуло:

— Вз-з-ж-ж-у-ю-ю!..

Сзади грохнуло и ветром донесло поднятую снарядом землю.

Расположились в старых окопах. Ивана поразила тишина. Он ждал того боя, о каком так увлекательно рассказывал старый взводный...

Из маленького леса напротив, показалось несколько фигурок на лошадях. Кто-то крикнул:

— Немцы!

Зачастили выстрелы. Но фигурки мчались на окопы, а за ними выезжали новые. Жажда человекаубийства овладела Иваном.

Внимательно наводя мушку на какую-либо из фигур, он нажимал спуск и смотрел как падала фигурка.

А лес, как ожила. Из него мчались все новые и новые ряды немцев. Разгоряченные солдаты стреляли.

Иван оглянулся на своих товарищей и в голове невольно мелькнуло сравнение.

— Остервенели, как бешеные волки!..

И вдруг руки Ивана опустились, винтовка упала. Он

увидел, что вместо зверей на них летят *такие же* люди...

— Ошибка, русские?

Но острые шишаки на головах, непонятные выкрики говорили другое. Полной грудью Иван хотел крикнуть:

— Стойте! Своих бьете, людей бьете!

Но крик этот задохнулся, вместе с Иваном, под тяжелыми копытами немецкой лошади...

Щигровский уезд.

Ф. Титов.

Урядник Митрин.

Я такой улыбки не упомню
И не встречу уж такой оскал,—
Даже в эту человечью бойню
Он солдаток ухарски ласкал...

Даже в эту бойню он нарядный
Вдоль по улице гуляет козырем:
Его имя грозное—урядник
Застраховано самим царем.

Сапоги в „бутылочку“ натянет;
Запах ваксы очень густ,
И сверкая желтыми ногтями
Непокорный крутит ус...

В службе Митрин строг и боек
Кинет старосте—„не возражать...
— С хаты телячий опоек,
По возу фурража-а...“

Десятский, ежели скажем,
Подводу в срок не подаст,
С улыбкою меда слаже,
Увесисто в морду даст.

У лавченки Маньки Шепетухи
Самый постоянный гость,
Политура, или там, сивуха
Для него уж „специально“ береглась.

За прилавком Маньки очень часто
Я его улыбчивым видел,—
Он таращился на баб глазасто,—
Для молодок горе да беда.

Пальцем, это, сманит молодуху,
И накормит пряниками в сласть;
Отказать потом не хватит духу
Потому—что власть!

Всякий помнит Климову Татьяну,
Что плевок дала за поцелуй;
Рассерчал урядник Митрин спьяну
Из нагана жарил по селу.

А потом пришли, забрали Клима
Не уважили его седин:
Власть урядника ничем неумолима
Мать Татьяны буркнула—„иди“...

Ждал конца урядник терпеливо,
Знал, что все равно, придет она...

И Татьяна кинула гадливо
— „Кровопивец На!..“

„Ой и Митрин, заломил ты дюжа!
Знаю ты до молодух охоч,
Да у них забрали, аль убили мужа,
Потому им некому помочь.“

Так сказала тетка Акулина,
И за эти „вольные“ слова
Голову пробил ей клином—
И на грудь упала голова!

А земля тут вскоре задрожала,
От предчувствия Октябрьских гроз,
И мужичья злоба угрожала
Ловкачам царевых розг.

Я такой улыбки не забуду
До последнего конца...
Был зарезан Митрин самосудом
И рукой Татьянина отца.

*И. Еськов.***У м о р я.**

Как сизый бархат в переливе
Играется волна с вольной,
И бьются шумно у обрыва
Угрюмо-ласковый прибой.
Задумчиво склоняясь на камень
Сижу я в лавровой тени,—
Сливаясь сердцем волны с вами,
Как с вечностью былые дни.
И слушая ваш шум угрюмый,
Как стайки светлых облаков
В моем мозгу проходят думы
И вьются кольца нежных слов.
...Шуми, шуми под солнцем юга,
Играйся ярче в сини волн...
О море... Будь моим ты другом
Я с севера к тебе пришел!
И что-ж... Куда свой взгляд не брошу,
Куда его не устремлю:
И, грудь мою привет тревожит.
Везде участье сердцем пью.
И телом бронзы золотистой,
Где южный отражен Кавказ—
Обнялся я с волною чистой,
Хоть может быть в последний раз.
Но пусть! Я примирился с этим...
На север скоро уплыву,
И долго, долго южным летом
Жить буду я в своем kraю.

* * *

Противно мне
Уныние стихов—
В них кислая тоска бессильной муки—
Кипят в груди моей другие звуки,—
Волнуясь гордым веяньем ветров.
Поэт... Ты жаждешь—
Жизни, борьбы и гроз...—
Туда задумчиво свой взгляд впиряешь,
Но сердце ты зачем тоской терзаешь;—
И сколько слез...
Я не хочу сказать:
Я сердцем груб—
И лирика мне душу не волнует...—
Нет!...
Я люблю тоски и вздохов струи—
Им часто рад,
Как бурям гордый дуб.
Но я хочу, в об'ятья к ним упав,—
В тоске огонь найти,
И мыслью гибкой—
Зажечь у каждого улыбку,—
Ногою безнадёжность растоптав.
Наш век велик
И бурями богат,
И требует он нового Шекспира,—
Не даром же одна шестая мира
Десятый нынче празднует парад.

Курск.

Содержание

Ассоциация пролетарских писателей.

	Стр.
1. М. Суровый. Десят лет. Стих	5
2. Его-же. Ефим Кандальный. Отрывки из поэмы	6
3. Бор. Мелько. Ночью у Сиваша. Стих	17
4. М. Козловский. Ночью. Стих	19
5. Его-же. Маленький варвар. Стих	21
6. Его-же. Гармонь и книга. Стих	23
7. М. Булавин. Голод. Рассказ	25

О-во крестьянских писателей.

8. В. Иванилов. Искры Октября. Стих	33
9. Его-же. Молодая жизнь. Стих	33
10. Его-же. Молодость. Стих	34
11. М. Кочевой. Октябрьский подарок. Стих	35
12. Его-же. Товарищ Шура. Стих	36
13. Т. Гейдельберг. Десять. Стих	37
14. Ив. Попков. В деревне. Стих	38
15. Ив. Ерин. На ярмарке. Стих	39
16. Его-же. Пряха Аксинья. Поэма	40
17. М. Горбовцев. „Одеяло“, Рассказ	44
18. Л. Чемисов. Товарищ Урожай. Стих	56
19. Н. Романовский (Юнак.) Косьба. Стих	57
20. Его-же. Жизнь. Стих	57
21. Его-же. Иван. Рассказ	58
22. Ф. Титов. Урядник Митрин. Стих	63
23. И. Еськов. У моря. Стих	65
24. Его-же. Противно мне. Стих	66

Гублит № 1910. Тираж 1500. Заказ № 71.

Курск, Типография при Губдомзаке.

